

И. С. Никитин





REINHARD LAUER

И.С. Никитин,



ДНЕВНИК
семинариста



И.С. Никитин



ДНЕВНИК
семинариста

Повесть

Издательство «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
Москва — 1976

Р1
Н62

Вступительная статья и примечания
О. Г. Ласунского

Художник
А. И. Белюкин

Никитин И. С.

Н62 Дневник семинариста. Повесть. Вступ.
статья и примеч. О. Г. Ласунского, худож.
А. И. Белюкин. М., «Сов. Россия», 1976.

160 с. с ил.

Р1

Н $\frac{70301-178}{M-105(03)76}$ 124-76

О «ДНЕВНИКЕ СЕМИНАРИСТА» И. С. НИКИТИНА

На центральной улице Воронежа стоит огромное, похожее на казарму здание, на котором укреплена мемориальная доска с барельефом И. С. Никитина. Оно и сейчас производит мрачноватое впечатление. Стоит вообразить железные решетки на окнах, сырой, как в подвале, воздух, неподвижную фигуру сторожа у входа, и мы получим некоторое представление о духовной семинарии, в которой Никитин обучался с 1839 по 1843 год. За этими каменными, громадной толщины стенами, отделявшими бурсаков от остального мира, проходила юность человека, которому суждено будет стать выдающимся поэтом России.

Художник беспощадно честный и правдивый, Иван Саввич Никитин (1824—1861) рассматривал писательство как трибуну гласности, позволявшую сказать на всю страну слово истины, какой бы горькой она ни была. Быстро преодолев ранний, подражательный период творчества, Никитин находит собственный путь в литературу — путь активного гражданского служения народу. Никакие соблазны «чистого искусства», никакие житейские тяготы не могли уже заставить с него сойти. Поэт отдал свой талант изображению ужасающих условий, в которых находились тогда социальные низы.

В никитинских произведениях отразились самые трагические стороны крепостной действительности. Многие стихотворения потрясают безысходностью нарисованных в них картин. Вымирающие деревни, доведенная до нищеты городская окраина, безрадостное существование «маленького человека» — все то, что тщательно скрывалось от глаз общественности, было смело выставлено на всеобщий суд. Один из вождей революционной демократии Н. А. Добролюбов высоко оценил обличительный па-

фос стихотворений Никитина из народной жизни, а также его поэмы «Кулак» (1858).

Коснулся Никитин и темы, которая в отечественной литературе была разработана довольно слабо,— положение в системе духовного образования. Церковь, занимавшая в государстве господствующие идеологические позиции, стремилась воспрепятствовать проникновению на страницы светских книг даже самых безобидных сведений о процветавших в духовной школе нравах. Никитин как бы приоткрыл завесу над этой малозвестной читателям областью русской действительности.

Повесть «Дневник семинариста» (1861), его единственное прозаическое произведение, несколько ранее знаменитых «Очерков бурсы» Н. Г. Помяловского познакомила публику с дикой, мертвящей обстановкой в учебных заведениях, готовивших духовных пастырей.

Критический подход к любой стороне церковной деятельности считался весьма предосудительным. Автор «Дневника семинариста», таким образом, вступал в открытое единоборство с грозной и могущественной силой. В условиях общественного подъема 1860-х годов оно, по сути, превращалось в борьбу с политическими устоями России. Ведь официальное православие неизменно шло рука об руку с самодержавием, освящая именем бога самые гнусные преступления царизма. В. Г. Белинский называл церковь «опорою кнута и угодницей деспотизма».

К антиклерикальным настроениям Никитин пришел не сразу. Среда, где он вращался, долго не позволяла освободиться от власти традиционных представлений.

Дед писателя был дьячком в одном из сел Задонского уезда Воронежской губернии. Потом он вышел из духовного звания и записался в мещане. Отец, Савва Евтевич, любил книги религиозного содержания и, вероятно,

не исключал для сына карьеры священнослужителя. В Воронежском духовном училище Никитин пробыл шесть лет, затем еще четыре года — в семинарии, где учился неохотно и был уволен «по малоуспешности и по причине нехождения в класс». Семинарский курс наук не мог дать живой пищи уму, поэтому Никитин и не проявил своих способностей. Вместе с тем едва ли он тогда мог позволить себе слишком дерзкие «богопротивные» мысли.

Среди первых литературных опытов Никитина встречаются стихи на библейские мотивы, например «Моление о чаше». Они пользовались популярностью в окружении Никитина, а воронежская губернаторша княгиня Е. Г. Долгорукая их всячески превозносила. Некоторые близкие к поэту лица пытались разжечь в нем интерес к религиозной тематике, чтобы в конце концов направить его творчество по проторенному руслу, образовать из него чуть ли не певца благочестия.

Из этих попыток ничего не вышло. Прежде всего, обращение к евангельским сюжетам объяснялось не столько набожностью чувств, сколько чисто литературными экспериментаторскими целями: попробовать себя и в этом поэтическом жанре. А главное — в Никитине, чуждом светского ханжества, была крепка та стихийная автипоповская закваска, которая побуждала простолюдинов говорить об иконе: годится — молиться, а не годится — горшки покрывать. Даже в пору создания «Моления о чаше» автор не испытывает должного почтения к лицам духовного сана. Так, в шутовском стихотворении «Ах! признаюсь, воля ваша...» Никитин не щадит «больших бород и длинных ряс», клеймит их выразительной кличкой «медный лоб».

Но наиболее откровенно свое отношение к духовенству Никитин раскрыл в произведении, не предназначавшемся для печати, — «Ах, прости, святой угодник!» Здесь

возникает шаржированный, сатирически заостренный образ российского служителя культа:

Поп, обросший бородою,
По дворам с святой водою
Будет в праздники ходить,
До упаду есть и пить,
За холстину с причтом драться,
Попадья-жены бояться,
Рабски кланяться рабам
И потом являться в храм...

Непосредственно это язвительное стихотворение направлено против рутины и казенщины, свивших себе гнездо в духовной школе. Обращают внимание удивительная меткость характеристик и смелость авторских суждений. Примечательна концовка произведения:

Но авось пора настанет —
Бог на Русь святую взглянет,
Благодать с небес пошлет —
Вурсы молнией сожжет!

Под стихотворением стоит дата — 27 мая 1858 года. А чуть ранее, в письме Никитина к Н. И. Второву от 14 апреля этого же года, встречается первое упоминание о работе над «Дневником семинариста». Таким образом, Никитин решил, не дожидаясь божественного вмешательства, самолично выступить против бурсы, так сказать, метнуть в нее молнию.

Никитин несколько наивно верил, что, сделав тайное явным, он поможет улучшить практическое положение в духовном образовании. Автор повести не скрывал возлагавшихся на нее надежд, в его письмах мы находим фразы: «Некоторый свет, брошенный в эту бурсу, наверное принес бы свою пользу...»; «Если пропустит пещура написанный мною «Дневник семинариста», вопрос о

семинарском воспитании, кажется, подвигнется вперед...» и т. д. Но как всякое художественное произведение, «Дневник семинариста» ценен не конкретными результатами содержавшейся в нем критики (если они и были), а воздействием на умы и сердца читателей. Трудно сказать, что изменилось в учебных заведениях после напечатания никитинской повести, но то, что она возбудила пристальный интерес к участи юношества, томящегося за толстыми семинарскими степами,— это бесспорно.

Произведение И. С. Никитина было опубликовано в сборнике «Воронежская беседа на 1861-й год». Оно появилось в знаменательную эпоху социальных потрясений, вызванных толками о предстоящей крестьянской реформе и повсеместными антиправительственными выступлениями. Проблема «отцов и детей» из семейной превращалась в общественную. На смену дворянским либералам приходило поколение «нигилистов», деятельных революционеров-демократов во главе с Н. Г. Чернышевским (кстати, он вышел из семьи священника, учился в духовной семинарии). В этих условиях пельзя было оставаться равнодушным к уделу разночинской молодежи, гибнущей нравственно по прямой вине духовного ведомства. Повесть Никитина была, следовательно, своеобразным знамением времени.

Актуальность «Дневника семинариста» отмечали и рецензенты, в частности, анонимный автор журнала «Современник», который назвал никитинскую повесть украшением «Воронежской беседы».

В другой статье о «Дневнике семинариста» говорилось: «Во всем этом произведении лежит печать искренности и теплоты; видно, что автор сам переживал то, что заключил в свои строки...».

Здесь рецензент мимоходом коснулся важного во-

проса — о степени документального начала в никитинском произведении. Понятно, что книгу о семинарском житье-бытье мог создать лишь тот, кто сам прошел через это испытание. Никитин щедро вводит в повествование автобиографический материал. Исследователи давно обратили внимание на эту особенность произведения. По разбросанным в нем историческим фактам (смерть Мертвого, выход в свет «Мертвых душ») нетрудно определить время действия «Дневника семинариста». Это 1841—1842 годы, то есть время пребывания самого автора в бурсе. К тому же герой, от имени которого ведется дневник, Василий Белозерский, учится в старшем классе среднего, философского отделения. Именно из этого класса Воронежской семинарии был уволен Никитин.

Можно найти немало и других аналогий. Например, приводимые в повести темы схоластических учебных сочинений почти точно повторяют реальные темы двадцатилетней давности. Упоминается в одной из записей Белозерского ученик старшего, богословского отделения, преподающий «философам» по необходимости французский язык. Выясняется, что так и было в самом деле. Словом, Никитин интенсивно использовал в работе над рукописью собственный опыт, наблюдения и впечатления своей суровой юности. Под пером Белозерского бурса часто приобретает черты конкретной Воронежской семинарии.

Однако следует отметить, что достоверность повествования в широком смысле слова достигается не столько за счет элементов документальности, сколько за счет художественного осмысления материала. Неправоммерно видеть в «Дневнике семинариста» беллетризованный очерк истории местной семинарии или мемуарные свидетельства очевидца событий. Если бы это было только так, произведение Никитина не оказывало бы

столь значительного влияния на русских читателей в продолжение многих десятилетий. «Дневник семинариста» — это прежде всего полнокровное творение искусства слова, блестящий образец реалистической прозы. И судить о нем должно по законам эстетическим.

Жанр дневниковых записок в первой половине XIX века был в литературе довольно широко распространен. Никитину избранный им жанр позволял развертывать действие в естественной, непринужденной манере, свободно переходя из одного интонационного ключа в другой. Сосредоточенность персонажа на фиксации своих раздумий и чувств открывала перспективы для углубленного психологизма. Всеми этими возможностями автор мастерски воспользовался.

В «Дневнике семинариста» переплетаются два композиционно-тематических пласта: один из них связан с изображением семинарского уклада, второй, вытекающий из первого, — с показом нравственного состояния героев. Можно сказать, что перед нами органическое сдипство традиционного бытописания и «идейной повести», возникшей в период появления на исторической арене «новых людей» с их культом интенсивной внутренней жизни. Своим произведением Никитин одновременно и удовлетворял любопытство читателей, жаждавших «открыть» для себя бурсу, и откликался на запросы эпохи, для которой были характерны жаркие идеологические схватки.

В соответствии с творческим заданием автор строит и систему образов. В центре повествования — девятнадцатилетний «философ» Василий Белозерский, через восприятие которого рисуются семинария и ее обитатели. Белозерский находится как бы в сопровождении двух диаметрально противоположных фигур — профессора Федора Федоровича и однокашника Яблочкина.

С линией Федора Федоровича связано воспроизведе-

ние косной силы житейских обстоятельств, силы, враждебной всякому движению мысли. С линией Яблочкина, напротив, связан дорогой для Никитина мотив напряженных духовных исканий как главного условия преодолеть инерцию быта, остаться полноценной личностью. Бедный Белозерский, натура благородная, но лишенная воли, мечется между желанием походить на Яблочкина и подспудным опасением, не уготована ли ему в конце концов участь Федора Федоровича или, в лучшем случае, Ивана Ермолаича, другого его наставника. За влияние над Белозерским ведут борьбу, с одной стороны, Яблочкин, с другой — окружающая среда. К фипалу повести герой, мучительно переживая собственную противоречивость, так и остается на распутье. И в этом заложен большой смысл. Для Никитина важно, в сущности, не то, по какой дороге пойдет Белозерский (правильное направление уже обозначено образом Яблочкина), а то, что он ищет свою дорогу.

Центральной проблемой «Дневника семинариста» представляется нам проблема выбора разночинской молодежи жизненных путей. Это был острейший вопрос никитинского времени. Складывавшаяся революционная ситуация требовала все больше самоотверженных, беззаветно преданных революционным убеждениям людей. Юношество оказалось поставленным перед необходимостью четко определить свое место в сложном мире. Максимализм той поры исключал третий путь: либо интеллектуальная лень и в итоге переход в стан пустопорожних либералов, а то и вовсе в заурядные обыватели, либо активная жизнь в сфере идей и практическое служение народу. Трудно приходилось тогда людям, которые, подобно Василию Белозерскому, не имели прочного морального стержня. Они вынуждены были испытывать тяжелейший душевный кризис.

В письме к Н. А. Матвеевой от марта 1861 года Никитин говорил о своей повести: «Воображаю, каким сюрпризом покажется она нашему духовенству...» Действительно, бурса, этот «рассадник просвещения», преподносится в откровенно неприглядном свете. Правда, Никитин в отличие от Н. Г. Помяловского не акцентирует внимания на грубых и до бессмысленности жестоких выходках учеников. Его больше тревожит нравственная драма молодежи, обреченной на годы иссушающей расчудок схоластики. И Никитин своей цели вполне достигает: читателей не может не потрясти крайняя степень духовного распада, свойственная и наставникам, и их подопечным.

Галерею отрицательных типов, порожденных бурсой, возглавляет профессор Федор Федорович, которого Белозерский имеет возможность наблюдать не только за кафедрой, но и дома. Сначала Василий относится к нему с почтением и робостью, потом — с иронией и презрением (впрочем, только на страницах своих записок). Гоголевские нотки звучат в сцене с вынужденным приношением даров. Федор Федорович подчеркнуто много спит. Эта деталь символична: система преподавания, основанная на механической зубрежке и догматизме, неизменно ведет к хронической умственной спячке. Яблочкин восклицает: «Экая бурса! Попала на одну ступень и окаменела: ни молодеет, ни стареется...» Федор Федорович всем своим обликом и поведением подтверждает подобную аттестацию.

Смешанное чувство сожаления и неприязни вызывает Иван Ермолаич. Этим образом Никитин показал, как безжалостная бюрократическая машина ломает и растаптывает человеческое достоинство.

Среди персонажей повести немало семинаристов. Но хотя у некоторых из них есть фамилии и другие отлич-

чительные признаки, в массе своей они похожи друг на друга. Личностная неповторимость, заложенная в каждом от рождения, у них почти полностью убита. Они выступают жертвами все той же тупой и деспотической силы.

В «Дневнике семинариста» выводятся не только ученые богословы и их воспитанники, но и само духовенство. Колоритна фигура благочинного, который приезжает к отцу Белозерского на храмовый праздник. Не ясно, исполнял ли он необходимые в таких случаях церковные службы, но за обеденным столом, безусловно, отличился. Чревоугодие, как известно, — вековечный порок российских попов. Недаром в простонародье их за глаза называли «брюхаты жеребцы».

Но, разумеется, гастропомические слабости святых отцов — невелика беда. Хуже другое: именем Христовым прикрываются ханжество и скудоумие, бесчестность и эгоизм. «На все воля божия!..», «Один бог без греха...» — такие формулы слишком удобны для оправдания любой несправедливости.

Церковь воспринимается Никитиным в широком социальном аспекте. Она несет, прежде всего, прямую ответственность за насилие, чинимое над неокрепшими душами вступающих в ее лоно. Но она повинна и в целом за страдания пародные, поскольку объективно защищает только выгоды власть имущих. Православие — идеологическая твердыня крепостнического строя. Именно для развития этого тезиса понадобилось Никитину вводить в повесть зарисовки крестьянского обихода.

Исследователями давно уже отмечался оригинальный композиционный ход, примененный Никитиным: рассказ о семинарских буднях обрамляется дневниковыми записями о канцелярных заботах Белозерского. Горемычное мужицкое житье оставляет неизгладимо тя-

гостное ощущение. Как-то Василий зашел к своему сельскому соседу — сердце сжалось, когда он увидел выглядывающую из каждой щели нищету... Это место повести заставляет вспомнить пикетическое же стихотворение «Ночлег в деревне» с его негодующе-скорбным пафосом. Картины бедности и каторжной работы в поле логически предваряют основную, «семинарскую» часть произведения. Логика эта состоит в том, что церковь паразитирует на теле народа-труженика.

Несмотря на трагизм содержания, «Дневник семинариста» отличается общей жизнеутверждающей тональностью, и в этом, конечно, сказалось влияние пикетической эпохи с ее нацеленностью вперед. Ощущения бесперспективности, тупика не возникает потому, что лагерю Федора Федоровича противопоставит лагерь Яблочкина и его подразумеваемых единомышленников. Правда, Яблочкин умирает в расцвете лет от чахотки, но автору дорог сам факт появления в затхлой атмосфере бурсы таких светлых личностей.

Надо подчеркнуть одну любопытную закономерность русской литературы прошлого века: в периоды повышенной общественной активности художники непременно обращались к созданию положительных героев. Существовала, следовательно, необходимость в некоторой переориентации читательского внимания с негативных сторон действительности на позитивные. Так, в первой половине 1820-х годов в творчестве Кондратия Рылеева и других поэтов-декабристов рождается характер идеального «сына отечества» — гражданина и тираноборца. Нередко это были представители господствующего дворянского класса, порывавшие с ним.

Так и в преддверии 1860-х годов писатели вырабатывали тип передового демократа-разночинца, который, в противовес либералам-фразерам, стремится к действию.

ванию. В изображении «новых людей» И. С. Никитину принадлежит едва ли не первое слово в литературе.

О Яблочкине можно сказать стихами Некрасова, посвященными Добролюбову (и он, заметим кстати, по миновал семинарской участи):

Природа-мать! когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни...

Яблочкин обладал теми внутренними качествами, которые столь выгодно выделяли разночинцев-«детей» на фоне безвольных «отцов», — последовательностью, одержимостью, энергией. Сын пономаря, круглый сирота, он самостоятельно пробивает дорогу. Ему свойственно обостренное чувство собственного достоинства: «...Я никому не обязан и ни от кого не зависим...» Более всего он боится оказаться в позорной роли холопа, лакея. Никитин, сам не однажды бывавший в положении Яблочкина (что позволяет говорить об авторе как о своеобразном прототипе Яблочкина), тонко подметил эту характерную для «нигилистов» черту.

Яблочкин — воплощение душевного непокоя. Поэзия интеллектуальных и нравственных исканий — вот что привлекает нас в героя. Обаяние этой незаурядной личности испытывает и Белозерский. Он говорит о пылких «огненных» речах своего друга, упоминает о его «сияющих» глазах. Образ Яблочкина дан в определенных романтических тонах. Это соответствовало настроению Никитина, возлагавшего большие надежды на разночинскую молодежь. Яблочкин умирает. Потрясает своим драматизмом сцена предсмертного бреда, а вопль больного: «Стены горят... Мне душно в этих стенах!.. Спасите!» — приобретает глубоко символический подтекст.

Душно всем, кто не способен на компромисс с установленным порядком вещей.

Смерть Яблочкина и его ставший знаменитым реквием «Вырыта заступом яма глубокая...» не рожают беспросветного пессимизма. Ведь подобные люди никогда не уходят из жизни бесполезно. Ценою собственной гибели они открывают путь идущим за ними вслед.

В «Дневнике семинариста» часты раздумья о том, что ждет героев впереди. Яблочкин непоколебимо верит в свою звезду, и эта убежденность важнее, чем физическая немощь и даже смерть. Повесть, обнажая язвы настоящего, вся устремлена в будущее. В столкновении с миром насилия и зла Яблочкин одерживает духовную победу.

«Дневник семинариста» оказался последним, в значительной мере итоговым произведением И. С. Никитина. Он вышел в свет, когда автор доживал свои последние дни. Публика не могла не понять, что литература потеряла в лице Никитина многообещающего прозаика.

Никитин всегда тяготел в своем творчестве к эпическому началу. Об этом свидетельствует не только его богатое эпистолярное наследие, но и многие стихотворные новеллы из крестьянского быта, а также поэмы «Кулак» и «Тарас». В полную силу дарование Никитина-рассказчика раскрылось именно в «Дневнике семинариста». Вместе с тем произведение пронизано стихией лиризма; она рождена, с одной стороны, самой формой дневника, а с другой — нескрываемой авторской симпатией к Яблочкину. Лиро-эпический склад повествования придает произведению особый колорит.

В одном из никитинских писем встречается многозначительная фраза, где, по сути, высказан эстетический завет автора: «Помните: вся прелесть в простоте и правде...» «Дневник семинариста» вполне отвечает этим кри-

териям. Созданный в манере строгой пушкинской простоты, он соединяет в себе высокие художественные достоинства с верным отображением действительности.

«Дневник семинариста» — замечательное творение русской демократической литературы. Советскому читателю оно дорого не только с исторической точки зрения — как талантливое воспроизведение ушедшего в далекое прошлое бурсацкого уклада. Повесть сохранила живое ощущение современности благодаря нестареющей этической проблематике. Нас и сегодня продолжает волновать судьба никитинских героев.

Олег Ласунский



ДНЕВНИК СЕМИНАРИСТА

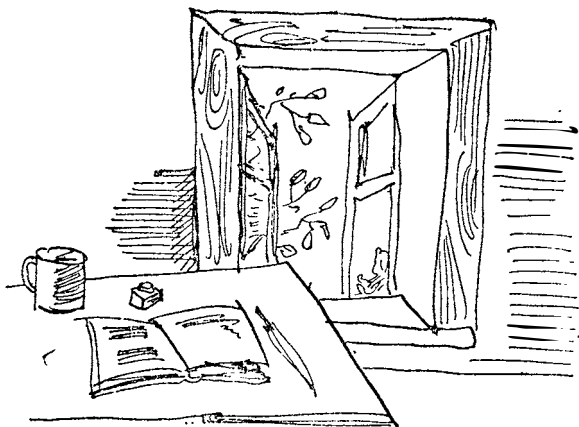
184..., июля 18

Слава тебе, господи! Вот и каникулы! Вот, наконец, я и дома... Да! Нужно, подобно мне, позубрить круглый год уроки, ежедневно, да еще два раза в день,— за исключением, разумеется, праздников,— промерить от квартиры до семинарии версты четыре или более; потом в душной комнате, в кружке шести человек товарищей, подчас в дыму тютюна, погнуться до полночи над запачканною тетрадкой или истрепанною книгой, подтвердить греческий и латинский языки, геометрию, герменевтику, философию и прочее и прочее и после броситься с досадою на жесткую постель и заснуть с тощим желудком, оттого что какие-нибудь там жиденькие, сваренные с свиным

салом щи пролиты на пол пьяною хозяйкою дома,— нужно, говорю я, все это пережить и пере-чувствовать, чтобы оценить всю прелесть теплого, гостеприимного, родного уголка... Ух! Дай потя-нись на этом кожаном стуле, в этой горенке с ок-нами, выходящими в зеленый, обрызганный ро-сою, сад, в этом раю, где я сам большой, сам старшой, где имеет право прикрикнуть на меня только один мой добрый батюшка... А право, здесь настоящий рай: тихо, светло. Из сада пахнет тра-вою и цветами; на яблонях чирикают воробьи; у ног моих мурлычет мой старый знакомец, серый кот. Яркое солнце смотрит сквозь стекло и золо-тым снопом упирается в чисто вымытую и вы-скребенную пожом сосновую дверь. Батюшка мой такой тихий, такой незлопамятный! Если и слу-чается мне что-нибудь набедокурить, он покачает головою, сделает легкий упрек — и только. Меж-ду тем, странное дело! я так боюсь его оскорбить... А вот, помню я, был у нас учитель во втором классе училища, Алексей Степаныч, коренастый, с черными нахмуренными бровями и такой рябой и корявый, что смотреть скверно. Вызовет он, бывало, тебя на середину класса и крикнет: «Чи-тай!» А из глаз его так и сверкают молнии. Взгля-нешь на него украдкою и начнешь изменяться в лице, в голове пойдет путаница, и все вокруг тебя заходит: и ученики, и учитель, и стены — просто диво! И попесешь такую дичь, что после самому станет стыдно. «Не знаешь, мерзавец! — зарычит учитель, — к порогу!..» И начнется, бывало, жаркая баня... Что ж вы думаете? Попадались такие уче-ники, которые, не жалея своей кожи, находили непонятное удовольствие бесить своего настави-

ка. Бывало, иной ляжет под розги, закусит до крови свой палец — и молчит. Его секут, а он молчит. Его секут еще больше, а он все молчит.

Алексей Степаныч смотрит и со зла чуть не рвет на себе волосы... Да мало ли что случилось! Однажды ученик делал деление и до того спутался, что никак не мог решить задачи. Стоит бедняжка у доски, лицо покраснелось, по щекам текут слезы, нос выпачкан мелом, руки и правая пола сюртука тоже в мелу. Алексей Степаныч злится, не приведи господи! «Ну, говорит, что ж ты!.. решай!..» И вдруг повернулся направо. «Богородицкий! как ты об этом думаешь?» Богородицкий вскочил со скамьи, вытянул руки по швам и, вспомнив, что в катехизисе есть подобный вопрос с надлежащим к нему ответом, громогласно и нараспев отвечал: «Я думаю и рассуждаю об этом так, как повелевает мать наша церковь». Мы все переглянулись, однако ж засмеяться никто не посмел. Алексей Степаныч плюнул ему в глаза и крикнул: «На колени!» Ну, в семинарии у нас совсем не то: розги почти совсем устранены, а если и употребляются в дело, так это уж за что-нибудь особенное. Наставники обращаются с нами на *вы*, к чему я долго не мог привыкнуть. Оно в самом деле странно: профессор, магистр духовной академии, человек, который бог знает чего не прочитал и не изучил, обращается, например, ко мне или к моему товарищу, сыну какого-нибудь пономаря или дьячка, и говорит: «Прочтите лекцию». Долго я не мог к этому привыкнуть. Теперь ничего. И мне становится уже неприятно, иногда и вовсе обидно, если кто-либо говорит мне *ты*; в этом *ты* я вижу к себе некоторое пренебрежение.



Замечу кстати: мне необходимо привыкать к вежливости, или, как говорит мой приятель Яблочкин, к порядочности (Яблочкин необыкновенно даровит, жаль только, что он помешался на чтении какого-то Белинского и вообще на чтении разных светских книг). Батюшка сказал, что в первых чисел сентября я буду жить в квартире одного из наших профессоров с тою целью, чтобы он имел непосредственное наблюдение за моим поведением, следил за моими занятиями и, где нужно, помогал мне своими советами. Этот надзор, мне кажется, решительно во всем меня свяжет. Либо ступишь не так, либо что скажешь не так, вот сейчас и сделают тебе замечание, а там другое, третье и так далее. Впрочем, может быть, я и ошибаюсь: батюшка, наверное, желает мне добра. Стой! вот еще новая мысль: что если этот

дневник, который я намерен продолжать, по какому-нибудь несчастному, непредвиденному случаю попадет в руки профессора? Вот выйдет штука... воображаю!.. Да нет! Быть не может! Во-первых, у меня, как и прежде, будет в распоряжении свой сундучок с замком, в который я могу прятать все, что мне заблагорассудится; во-вторых, я стану писать его или в отсутствие профессора, или во время его сна; стало быть, опасения мои на этот счет не имеют никакого основания. Жаль мне бросить эту работу! Записывая все, что вокруг меня делается, быть может, я со временем привыкну свободнее излагать свои мысли на бумаге. Притом сама окружающая меня жизнь здесь, в деревне, и там, в городе, в семинарии, как она ни бедна содержанием, все-таки не во всем лишена интереса. Вчера, например, мне случилось быть у нашего дьячка Кондратьича. Чудак он, ей богу! Летами еще не стар, лет так тридцати с чем-нибудь, вынтив любит, а когда выпьет, ему никто ни о чем: и прихождения-мужик, и дьякон, и даже мой батюшка. Придирки свои он обыкновенно начинает жалобой на свое незавидное положение: «Что, дескать, я? дьячок — вот и все! Тварь — и больше ничего! Червяк — и только!..» и зальется горькими слезами, — и вдруг от слез сделает неожиданный переход к такой речи: «Да-с, я червяк, воистину червяк! Ну, а ты, смею тебя спросить, ты что за птица?..» Тут голос его начинает возвышаться все более и более. Кондратьич засучивает рукава, левую ногу выставляет вперед, правую руку со сжатым кулаком бойко замахивает назад, словом, принимает грозное, наступательное положение, и в эту

минуту к нему не подходи никто, иначе расшибет вдребезги; если кулаков его окажется недостаточно, пустит в ход свои зубы, уж чем-нибудь да насолит своему, как он выражается, врагу-супостату. Жена Кондратьича робкая, загнанная, забитая женщина, вдобавок худенькая, маленькая и подслеповатая, вечно плачется на своего мужа, жизнь свою называет мукою, себя мученицею; муж называет ее слепую Евлампиею. Итак, говорю я, вчера вечером случилось мне быть у Кондратьича. Когда я вошел в его избу, он ходил из угла в угол, заложив руки за веревочку, которою был опоясан, и распевал: «Взбранной воеводе победительная, яко избавльшися от злых...» Посреди избы стояла большая, опрокинутая вверх дном кадушка. «А, мое вам почтение, Василий Иванович! — сказал Кондратьич, заметив меня на пороге, — мое вам всенижайшее почтение, господин философ, будущий пастырь словесных овец... сделайте одолжение, садитесь... А это что у вас за мешочек в руке?..» Я совершенно потерялся. Дело в том, что батюшка приказал мне отнести дьячку немного пшена, но так, чтобы муж ее этого не заметил, потому что Кондратьич, при всей своей нищете, при всем своим безобразном пьянстве, горд невыносимо. «Это так», — отвечал я, краснея. «А коли так, стало быть и пышки в мак». Мы сели. Минуты три прошло в молчании. Вдруг под кадушкою послышались всхлипывания. Я взглянул на дьячка. Он преспокойно поправил свою тоненькую, завязанную грязным снуром, косу и отвечал: «Мыши скребут». Всхлипывания усилились. Я вскочил, приподнял край кадушки, и, к величайшему моему удивлению, оттуда вышло или,

правильнее сказать, выползло живое существо, — это была жена Кондратьича, бледная, без платка на голове, с растрепанными волосами. «Что это значит?» — спросил я дьячка. «Гм... что это значит... да-с!» И, не спеша, вынул он свою тавлинку, щелкнул по ней указательным перстом, потянул в одну ноздрю табаку и с глубокомысленным видом произнес: «Жена моя увидала вас в окно и, не желая показать молодому юноше свою красоту, скрылась в эту подвижную хранину. Смею вам доложить, она у меня прецеломудренная женщина!..» Разумеется, Кондратьич говорил вздор. По справке оказалось, что он уже не первый раз издевается таким образом над безответною бабою. В минуту гнева и уж, конечно, порядочно выпивши, Кондратьич опрокидывает кадушку там, где ее находит, то есть на дворе или в избе, и обыкновенно кричит жене: «Слепая Евлампия, гряди ссмо!..» Бедная женщина, не смея ему прекословить, подползает под так называемую подвижную хранину, а дьячок ходит вокруг и распевает: «Взбранной воеводе победительная...» Батюшка мой отчасти прощает ему эти мерзости из сострадания к его жене, которая без мужа должна будет пойти с сумою, потому что Кондратьич, как он ни плох, все же ее кормит, отчасти просто по доброте своего сердца. Дьячок, с своей стороны, умеет заискать кого ему нужно. На днях, когда благочинный входил в нашу церковь, Кондратьич забежал ему вперед. «Позвольте, позвольте!..» — «Что ты, брат?» — «А вот-с...» — и, вынув из своего кармана носовой платок, услужливый дьячок смахнул им пыль с сапог благочинного, прежде нежели тот успел ему что-либо

возразить. «Каков он у вас?» — спросил после благочинный у моего батюшки. «Пьет иногда и характера не совсем спокойного». — «Ну, что ж делать! Увещевай его словом божьим. Глядишь, исправится. Один бог без греха...» Однако пора обедать. После обеда завалюсь спать и просплю до вечера, просто — наслаждение!..

Вечером

Уже смерклось. С пастбища возвращается стадо коров, покрытое облаком пыли. Пастух пощелкивает кнутом. Где-то вдалеке, вероятно, какой-нибудь молодой парень наигрывает в жилейку. На улице слышен скрип отворяемых и затворяемых ворот. Бабы, в пестрых понявах и в белых рогатых кичках, расходятся в разные стороны от колодца. Коромысла мерно качаются на их плечах, в железных ведрах светится холодная ключевая вода. Солнце медленно прячется в синих тучах за темным лесом, и его пурпуровый румянец горит на листьях деревьев, на соломенных кровлях бревенчатых избушек, на стеклах узеньких окон и на поверхности светлого озера, окаймленного зеленым камышом. Славная, право, картина! А уж как я спал после обеда!.. мне кажется, удар грома не мог бы меня разбудить... Да как и не спать? Пирог, щи с говядиной, подбитые сметаной, жареная, налитая яйцами курица, творог, каша молочная — вот что было у нас за обедом. Маменька потчевала меня, как гостя, и я принужден был съесть несколько лишних кусков единственно для того, чтобы доставить ей удовольствие. Хорошая она, право! Говорит, что я похудел

в продолжение года от усиленных занятий науками, и советует мне беречь свое здоровье, в особенности не читать книг по ночам, чтобы не испортить зрения. Разумеется, все это было сказано в отсутствие батюшки, который не любит потакать лени, а главное — не терпит, чтобы женщины мешались в дело науки. Прямое назначение женщин, говорит он, — заботы о семейном, домашнем быте, вне которого они никуда не годны. Взгляд батюшки еще не так строг. Другие смотрят на женщину как на аспида и василиска. Правда, я мало читал, но из всего прочитанного выходит заключение такого именно рода, что женщина — аспид и василиск... Кто пробежит начало моих записок, без сомнения скажет: «Что за наивность! В какие странные рассуждения вдается писавший эти строки!» — Так-то так, м. г., сказал бы я ему, только вы забываете, что я связан по рукам и по ногам. Если бы я спросил о чем-либо, не прямо относящемся к моему делу — к лекции, кого-нибудь из наших профессоров, меня назвали бы дураком; если бы я спросил кого-либо из моих товарищей, — более скромный из них посмеял-



ся бы надо мною, более дерзкий послал бы меня к черту. На всякий возникающий во мне вопрос, на всякое рождающееся во мне сомнение я должен искать ответа только в самом себе. За что же лишать меня моей единственной отрады — свободы мысли? Если всюду и перед всеми мне приходится скромно потуплять глаза и покорно наклонять свою голову,— по крайней мере в те минуты, когда работает моя голова, когда перо мое не успевает следить за быстрою мыслью, пусть я буду независим, пусть я буду человеком, свободно проявляющим дар своего живого слова. В Воронеже, говорят, появился недавно прасол-поэт. Жар и холод пробежал по моему телу, когда в одном из современных журналов я прочитал эти животрепещущие строки:

Иль у сокола
Крылья связаны?
Иль пути ему
Все заказаны?..

Впрочем, из наших наставников никто не упомянул о нем как о человеке, подающем какие-либо надежды. Говорят, был знаменитый поэт Пушкин, но я совсем его не читал. В словесности, как образец высокого слога в поэзии, я помню следующие, выученные мною наизусть, стихи Державина:

Се ты — веков явленье чуда.—
Сбылось пророчество, сбылось!
Меч, воссиявший из-под спуда.
Герой мой вновь свой лавр вознес.

Последнего стиха я никогда не мог произнести свободно, потому что при чтении его у меня перехватывало в горле дыхание. Вот Яблочкин,

так уж молодец по этой части! сколько он знает наизусть стихов! Пред моим отъездом сюда он читал мне поэму «Демон». Стихи необыкновенно музыкальны. Перед глазами одна за другою рисуются картины, когда их слушаешь; но впечатление, производимое целою поэмою, наводит на странные, невыразимые мысли... Что, если бы, по окончании курса в семинарии, удалось мне попасть в университет... Да нет! не с моими способностями. Яблочкин — другое дело: он хоть сейчас выдержит университетский экзамен. «Пешком, говорит, на Христово имя пойду, а уж буду в университете». Я ему верю: с его настойчивым характером он все сделает. А как он смел! Однажды в классе, когда профессор говорил о местопребывании души в человеческом теле и решил этот вопрос тем, что душа обитает во всем нашем теле, Яблочкин неожиданно поднялся со скамьи.

— Позвольте предложить вам возражение, — сказал он профессору.

— Хорошо.

— Так как в сумасшедшем человеке душа не может проявлять разумно своего существования, а по существу своему недеятельною она быть не может, то чем душа эта бывает занята в продолжение иногда многих лет, то есть до самой смерти сумасшедшего?

Профессор стал в тупик и, после долгого молчания, сурово ответил: «Садитесь на место и впредь прошу поменьше рассуждать, а слушать внимательно то, что вам скажут». Яблочкин сел читать какой-то журнал и не обращал ни малейшего внимания на лекцию профессора, который говорил о Сенеке, о Сократе, о Пифагоре и уж бо

знает о ком, всех трудно припомнить... Однако засела мне в голову эта семинария! О чем бы я ни повел речь, непременно коснусь семинарии... Полно! Мне еще нужно подумать о плане заданного нам на каникулярное время рассуждения на тему: *«Каким образом ум, как источник идей, может служить средством к приобретению познаний?»* По поводу этой темы Яблочкин сказал мне: «Подивись, брат, нашим способностям. На эту мудреную фразу у нас напишут некоторые по три или по четыре листа самым мелким почерком, а простой записки к знакомому никто из нас не напишет толково; мало этого: десяти слов не свяжут в разговоре как следует. Заметь, брат, это и намотай себе на ус». — «Однако и ты напишешь, когда прикажут», — отвечал я. «Само собою так... Воздадите кесарево кесареви»,

22

Целую неделю я не брался за перо: не до того было. Наступила рабочая пора — уборка хлеба. Жары стоят нестерпимые. На небе нет ни облачка. Ветер горячий. Жницы работают с рассвета до поздней ночи. На подошвах их необутых ног, которыми они смело ступают по срезанным стеблям ржаного колоса, трескается кожа; на ладонях появляются мозоли, некоторые величиною в орех; лица у всех покрыты загаром и потом; на свежие следы горячего пота ложится сухая пыль, образует черные полосы, которые в свою очередь покрываются новою пылью, и так далее и так далее... Всех мучит невыносимая жажда, а в поле нет ни одной капли холодной воды, потому что



она на рассвете привозится из села в жбанах или в бочонках и, по прошествии трех-четырех часов, делается теплою, совершенно негодною для питья. Нет и отрадной тени, куда бы можно было приклонить усталую голову и вдохнуть в себя струю прохладного воздуха. Грудные малютки, которых матери берут с собою в поле, лежат под снопами на разостланных белых зипунах, время от времени плачут, замолкают и опять плачут. Матери торопливо кормят их грудью и снова берутся за серп. При дороге сидят грачи с распущенными крыльями и раскрытым клювом; даже им тяжело от нестерпимого жара. Батюшка, несмотря на свой сан, собственноручно накладывает на воз полновесные снопы, подмазывает дегтем колеса, впрягает лошадь и сохраняет при всем этом невозмутимое спокойствие: так он рад хорошему

урожаю! Пример его и на меня действует благотворительно. Только от непривычки к работе к вечеру у меня страшно ломят плечи и руки. Ночью сплю как убитый, даже и во сне ничего не грезится. Сегодня, часов этак в пять, когда жар несколько убавился и работа закипела дружнее, из села прискакал верхом мальчишка, без шапки, босоногий, в оборванной рубашонке, и своим детским языком насили мог растолковать батюшке, что умирает его больная мать, что нужно ее исповедать и приобщить святых таин. Батюшка поморщился. Сердце мое сжалось, и, грешный человек, я осудил его в душе. Очевидно, ему жаль было терять золотое, рабочее время. Впрочем, нерешимость его была минутная: с моею помощью он посбросал с телеги снопы и крупною рысью отправился в село. Больная умерла в сумерки. Вечером, когда мы готовились сесть за ужин, вошел кузнец Фома, старик, белый как лунь.

— Здравствуй, отец Иван! Вот я сына хочу женить...

— Знаю, знаю. Час добрый! — сказал батюшка.

— Покорнейше благодарим. Прими-ка вот, чем богат.

Фома поклонился и поставил на стол штоф водки.

— Спасибо, друг, спасибо! Только наперед тебе самому ее надобно отведать.

— Почему не так, коли будет па то твоя милость. — Батюшка налил стакан.

— Выпей-ка на здоровье.

— Начишай, отец Иван. За мною дело не станет.

— Я бы не отказался. Ты знаешь, я не пью.

— Ну, и просить не стану. Благослови.

— Бог тебя благословит.

Фома выпил, крикнул и вытер усы рукавом своего серого халата.

— За венчанье-то, отец Иван, ты дорого ль с меня положишь?



— Сойдемся, друг, сойдемся.

— Вестимое дело. Все-таки мне надо рассчитать, что и как...

Батюшка скоро с ним условился.

— Ну вот,— сказал Фома,— спасибо, что не прижимаешь; добрый ты, значит, человек, не то что наш дьячок,— этакая дрянь, и не глядел бы на него.

— Бог даст, исправится. Ну, каково убирается с хлебом?

— Убираемся поспешеньку. Так спешим, что на-поди! — И, после непродолжительного разговора об уборке хлеба, Фома поклонился и вышел.

— Зачем вы взяли это вино? — спросил я у батюшки.

— Затем, чтобы не обидеть старика. Таков обычай.

— Ну, а зачем вы его потчевали?

— Опять таков обычай. Вот погоди, когда будешь попом, да придется тебе самому плести плетни, чинить соху, чистить хлев, да ходить со двора на двор с просьбою, нельзя ли, мол, вот в том мне помочь да в этом пособить, тогда ко всему привыкнешь. — И батюшка грустно сел за стол, как будто вопросы мои пробудили в нем тяжелые мысли.

30

Полевые работы идут горячо по-прежнему, и я почти к ним привык: руки и плечи болят у меня уже меньше. В прошлое воскресенье мы все порядочно поотдохнули. Время, проведенное мною в церкви, при слушании божественной литургии, показалось мне особенно приятным. Мужички стояли так тихо, так благоговейно! Ни один человек не улыбнулся, несмотря на то, что дьячок наш пел преотвратительно. При взгляде на толпу народа в голове моей мелькнула нелепая мысль: что, если бы я был учеником богословия? Я мог бы надеть стихарь, в виду всех стать перед наложником и сказать красноречивое, поучительное слово... По выходе из церкви, на паперти, меня встретили две чернички, одна старая, другая молодая и прехорошенькая. Они занимаются печением прос-

фор, посещают богатых купцов в городе, которые наделяют их разными съестными припасами, иногда отправляются странствовать по святым местам; на счет каких доходов? — положительно сказать не могу. Старую черничку некоторые мужички, в особенности и пожилые бабы, почитают за святую. Она носит на груди засаленную тетрадку: «Сон пресвятыя богородицы» и читает ее по складам набожным бабам; те слушают, подпирая руками голову, вздыхают, нередко плачут и награждают читальщицу кусками холстины. Батюшка смотрит на них подозрительно, но они живут, по-видимому, так безукоризненно и так хорошо сумели себя поставить во мнении всех прихожан, что бояться им решительно нечего. Эти чернички с такою настойчивостью и вежливостью просили меня к ним зайти, удостоить их, как выражались они, моим посещением, что мне совестно было отказаться. В горенке у них необыкновенная чистота. Окна вымыты и вытерты до того чисто, что при свете солнца кажутся зеркальными. Гладкий сосновый пол тоже вымыт, выскоблен ножом, и на нем не видно ни соринки. По углам нет ни одного клочка паутины. Стены недавно обелены. Стол покрыт белой, как снег, скатертью. Перед иконою, украшенную искусственными розовыми цветами и оправленную блестящею фольгою, ярко теплится лампадка. Рогачи поставлены у порога в уголке, вероятно, с тою целью, чтобы не всякому бросались в глаза. Их деревянные рукояти так вычищены, что подумаешь, они вышли из-под рук искусного столяра. Из простых вопросов молодой чернички о том, что нового в городе, каково мне там живется, не скупаю ли

я в деревне, я заметил, что она очень неглупа. Старуха достала между тем из маленького сундука графин красного вина и поставила его на стол на круглом зеленом подносе вместе с рюмкою. Несмотря на все мои уверения, что я никогда не пил и не пью вина, я не мог не исполнить желания гостеприимных хозяек, когда они сказали, наконец, что я их обижаю, что, следовательно, я ими гнушаюсь, если не хочу выпить того, что предлагается мне от души. Молодая черничка сидела напротив меня и так близко, что ее горячее дыхание касалось моего лица. Черное платье, застегнутое на груди белою перламутровою пуговкой, расстегнулось, и я горел от стыда и еще от другого, доселе незнакомого мне чувства. Совесть моя говорила мне, что я поступаю нехорошо, что мне не следовало долго оставаться в этой уютной горенке, между тем непонятная сила удерживала меня на месте, случайно занятом мною против молодой чернички. Приблизилась пора обеда. Я опомнился, схватил фуражку и поблагодарил хозяек за их радушный прием. Они пригласили меня перед вечером пить чай. Скажу чистосердечно, я был рад этому приглашению, хотя и отказался от него из приличия.

· 31 утром

Нет, я не был вчера у черничек. Вся эта ночь проведена мною без сна, в страшной, мучительной тоске. Полураздетый, я ворочался с боку на бок в своей постели, творил молитвы,— и все напрасно: сон убегал от моих глаз. Голова моя горела, как в огне, подушка жгла мои щеки, про-

стыня обдавала меня жаром. Около полночи я вышел из терпения и сел к открытому окну, думая, что ночная прохлада освежит мое пылающее лицо и приведет в порядок мои мысли. Все было напрасно... Тускло сияли звезды на синем небе. В саду стоял непроницаемый мрак. Порою слышался шепот сонных листьев, тревожимых перелетным ветром. В этом шепоте мне чудились звуки ласковой женской речи. В темноте ночи перед моими глазами носился образ красивой, молодой женщины. Она глядела на меня так приветливо, с такою любовью манила меня к себе своею белою рукою. Я боялся, что сойду с ума, вышел на крыльцо и начал лить себе на голову воду из висевшего там на веревочке глиняного ручейника. Эти строки я пишу при бледном свете только что занимающегося утра. На востоке загорается красная полоса. Ключки алых, прозрачных облаков быстро пролетают в голубой высоте. В росистом саду изредка слышится пирок пробуждающейся птички. Батюшка теперь скоро проснется, и мы все отправимся на работу. Скорее бы нужно в широкое поле: в этой тесной комнате душно, как в раскаленной печи...

1 августа

Перевозка снопов окончилась вчера рано. Я был дома еще засветло. При наступлении сумерек умылся, почистил свое платье и пошел побродить по селу. Уж не знаю, как это случилось, только мне скоро пришлось проходить перед знакомым окном, у которого сидела молодая черничка и вязала чулок (зовут ее, как я после узнал, Натальею

Федоровной). «Зайдите к нам на минутку», — сказала она с улыбкою, кивая мне головой. Сердце мое сильно забилося. Я остановился в нерешимости — и зашел.

— А я целый день сижу все одна. Старуха



моя ушла к знакомой, больной бабе, верно и почевать там останется. Садитесь, пожалуйста.

Разговор наш шел сначала довольно вяло. Но Наталья Федоровна была так находчива, что я невольно оживился.

— Ах, какая жара! — сказала она, сбросив с своей груди темный платок, и села со мною рядом. Плечо ее касалось моего плеча. — Я думаю, руки ваши от работы теперь сделались грубее, чем были прежде. Вы были сегодня в поле?

Она взяла меня за руку и крепко ее сжала.

— Да, был,— отвечал я взволнованным голо-
сом и дрожа всем телом.

— Огонь надо зажечь,— сказала она и опустила запавеску.

В комнате стало темно.

— Помогите мне сыскать свечу... Никкак ее не найду,— говорила она со смехом.— Не тут ли она стоит за вами?..

И лица моего опять коснулось горячее дыхание, моего плеча коснулось полуобнаженное, горячее плечо. По всему моему телу пробежал сладостный трепет. Дыхание мое прерывалось. Я крепко обнял обеими руками ее тонкий стан, и на губах моих, первый раз в моей жизни, загорелся огненный поцелуй...

Несколько дней я не брался за перо. Теперь горячка моя поутихла, и я могу спокойнее и глубже заглянуть в свою душу. Отчего я не обратил внимания на это тревожное чувство боязни, которое отталкивало меня в минувшее, памятное мне теперь, воскресенье от порога чернышек? Зачем я скрыл от своего отца мое первое с ними знакомство? Ясно, что я умышленно закрывал свои глаза, чтобы не видеть того, что я должен был видеть заранее. Ясно, что я с намерением не давал воли своему рассудку... Ну, любезнейший Василий Иванович, помни этот урок! Нет, брат, шалишь!.. Теперь каждый свой шаг ты должен строго обдумывать. Из каждого твоего намерения, готового перейти в дело, ты наперед обязан выводить

вероятные последствия. Мне кажется, в эти дни я постарел несколькими годами. Я горю со стыда, когда батюшка останавливает на мне свой умный, пронизательный взор, будто хочет сказать: «Ах, Вася! нехорошее ты дело сделал!..»

Какая здесь, однако, скука, боже милостивый! Ни одной книжонки нет под рукою, не только порядочной, и дрянной нет. Живут же тут добрые люди, да мало этого, и на жизнь свою не жалуется. На днях я зашел к нашему соседу. Сердце мое сжалось, как посмотрел я на его горемычное житье. Стены избушки покрыты копотью; темнота, сырость... Печь растрескалась. Разбитое окно заложено клочком старой рогожи. Пол земляной. На мокрой соломе хрюкает свинья; хозяин говорит, что она заболела, так вот и взял оп ее в избу.



Подле животного ползает маленькая девочка, босоногая, в изорванной рубашонке. Другое, грудное дитя лежит в засаленной люльке, повешанной на веревках подле печи; во рту у него грязная со-ска, наполненная жидкою пшенной кашею. Жена соседа, желтая и покрытая морщинами, ходит точно потерянная. Рот постоянно полуоткрыт; глаза смотрят бессмысленно. Не то чтобы она глупа была от природы, да нужда-то уж слишком ее заела. Еще один мальчуган, лет десяти, неумытый и оборванный, раскинулся на печи, без подушки и подстилки, и наигрывает в жилейку, утешая себя пронзительными звуками. Всю эту картину освещала дымная лучина.

— Вот,— сказал я между прочим соседу,— сын-то у тебя болтается без дела. Не хочешь ли, я буду учить его грамоте, покамест здесь проживу. Я скоро его выучу.

— Э-эх, касатик! Он свиней пасет, за это добрые люди хлебом его кормят, а грамота ваша нас не накормит. На что нам нужна ваша грамота? Бог с нею!..

Против этого я не нашел возражений и замолчал.

10

Сегодня с нашим батраком Федулом, на трех телегах, я ездил в луг за сеном. Воза так были накручены, что лошади едва тащили их по песку. Федул шел со мною рядом, покуривая коротенькую трубку. Я никогда не видал таких крепко сложенных людей, как наш батрак. Росту он небольшого, но в плечах необыкновенно широк. Черные,

курчавые волосы, черная, курчавая борода и густые, нахмуренные над серыми глазами, брови придают лицу его угрюмое выражение. Говорит он вообще мало и никогда не смотрит на того, с кем говорит.

— А что, Василий Иванович,— неожиданно спросил он меня,— скажи ты мне на милость, чему вас в городе учат?

Вопрос этот меня удивил.

— Как же я тебе растолкую, чему нас учат? Ведь ты не поймешь.

— Отчего ж не понять? Пойму.

— Ну, слушай. У нас изучают риторику, философию, богословие, физику, геометрию, разные языки...

— И будто вы знаете все это?

— Кто знает, а кто и не знает.

— Так. Ну, а прибыль-то какая же от вашего ученья?

— Та прибыль, что ученый умнее неученого.

— Вот что! Однако отец Иван косит и пахнет не лучше моего. Опять ты вот говоришь, что у вас разным языкам учат. Отец Иван, как и ты, им учился. Отчего ж он не говорит на разных языках? Я у вас десять лет живу, пора бы услышать.

— Да с кем же он станет тут говорить?

— Вестимо не с кем... Прибыли-то, значит, от вашего ученья немного. Вот если бы ваш брат-ученый прпехал к нам да рассказал толком: это вот так надо сделать, это вот как, и стало бы нашему брату-мужику от этого полегче, тогда вышло бы хорошо, а то... Ну, карий! чего ж ты стал?

Лошади подымались на гору. Карий реши-

тельно отказывался идти. Федул забежал ему вперёд. «Ты коли везти, так вези, не то я дам тебе такого тумака по лбу, что искры из глаз посыплются». Тумака ему, однако ж, он не дал, а, упершись своим широким плечом в зад телеги, крикнул: «Ну!..», и карий свободно потянул свой тяжёлый воз.

Попадавшиеся мне навстречу молодые бабы и девки смотрели на меня с какою-то странною улыбкой, и мне не раз приходилось слышать такого рода привет: «Гляди, молодка, гляди! Попович идет... Экой верзила!..» Правду сказать, наши лихачи-парни тоже отзываются обо мне не слишком вежливо и без особенной застенчивости находят во мне кровное родство с известною породою молодых домашних животных, которые обыкновенно бывают и красивы и бойки, покуда ещё незнакомы с упряжью. Мне кажется, я никому и ничем не подавал здесь повода к этим насмешкам и никому не сделал зла; откуда же взялось это обидное пренебрежение к моей личности? Вероятно, оно является благодаря существованию какого-нибудь Гондратыча и ему подобных. Жаль, что нашему брату от этого не легче. Нет, скверно тут жить!..

13

Скука моя растёт день ото дня. Поутру сверху донизу я перерыл все в своем сундучке, думая найти в нем какую-нибудь забытую книжонку или исписанную тетрадь. Ничего не отыскал! Развернешь одно — учебная книга; развернешь другое — знакомые лекции: логика, психология, объ-

яснения разных текстов... все это известно и пере-
известно... Быть по сему. Буду от нечего делать
опять продолжать свой дневник. Но, если бы при-
шлось мне пожить здесь долгое время, полагаю,
наверное, я ограничился бы тем, что вносил бы в
него следующие краткие заметки: сегодня мы бы-



ли в поле, или сегодня было то же, что вчера, или
сегодня ничего особенного не случилось, и так да-
лее, все в этом же роде... Что прикажете делать?
Чем богат, тем и рад... Итак, продолжаю.

В доме нашем идет страшная возня: пригото-
вление к храмовому празднику, то есть ко дню успе-
ния пресвятыя богородицы. Моют окна, двери, по-
лы и прочее, и прочее. Федул хлопочет на дворе: за-
резал несколько кур, зарезал трех гусей, зарезал
барапа, теперь готовится снимать кожу
с телепка и по поводу этой резни находится в от-

личпом настроения духа, сыплет шутками и с каким-то особенным удовольствием вонзает свой острый нож в теплое мясо животного, умирающего в судорогах перед его глазами. Матушка беспрестанно сердится на кухарку, кричит, что она ленива и ничего не понимает. «Ну, что ж, ленива, так и ленива!» — ответит кухарка и с таким ожесточением начнет скрести ножом сосновую дверь, что скрип железных петель становится слышен на весь дом. Или скажет: «Ну, что ж, глупа, так и глупа!» — и сунет с необыкновенною скоростью в устье печи горшок или чугунок, станет к ней задом и время от времени тяжело вздыхает: «Ох, хо, хо! житье, житье!..» Батюшка не мешается ни во что. Молвит иногда матушке: «Потише, попадья, потише!» и пойдет к своему делу. Матушка тотчас же притихнет. Вообще она ему во всем безусловно покоряется. Теперь вопрос: где взять вилок? — окончательно ее добивает. У нас вилок одна только пара, а гостей будет много. Для благочинного, приглашенного совершать литургию, решено приготовить его любимое блюдо: жареного поросенка, начиненного гречневою кашею, с гусиным жиром, с перцем, с луком и еще с чем-то, уж право не знаю. Для гостей второго разряда, за неимением особой спальни, очищена баня, в которой на полу и на полку постлано свежее, душистое сено. Что касается меня, никак не придумаю, на что бы употребить мне свободное время. По крайней мере, хоть бы спалось поболее, все было бы лучше, — так нет: лежишь до полночи с открытыми глазами и, рад не рад, слушаешь лай или вой голодных собак,

Наш храмовой праздник окончился. Слава тебе, господи! Гости разъехались. Ворота затворены. В доме глубокая тишина. Ну, и было же с ними хлопот! Первый обед, за которым присутствовали благочинный и человек пятнадцать нашей родни, прибывшей с разных сторон, за несколько десятков верст, прошел без особенных историй и шума. За обедом батюшка выбирал для благочинного самые лучшие, самые жирные куски мяса, повторяя: «Покорнейше прошу отведать. Сделайте одолжение, коли что дурно, не осудите; все, знаете, свое, домашнее...» и усердно потчевал его вином. «Отведаю, отведаю,— говорил благочинный,— пожалуйста, меня не торопи. Тише едешь, дальше будешь...» И в самом деле он не торопился: рассказывал разные анекдоты, отпирал крупный пот на своем лице и медленно опоражнивал новое блюдо. Матушка измучилась, упрашивая и кланяясь за каждою рюмкою. Гости пили, по-видимому, единственно из приличия, с большою неохотою. Но в половине стола сами начали просить вина разными намеками: гусь-то, мол, по сухой земле редко ходит, или утка-то без воды не любит жить... и тому подобное. Все эти свахи, двоюродные и троюродные сестры и сватовы жены вели неумолкаемый бестолковый разговор, и, по окончании обеда, некоторые из них записли песню с припевом:

Ай, люли! Ай, люли!
Ай, люшунки! Ай, люли!..

Тогда как в другом углу раздавалось хлопанье ладоней под веселую песню:

У ворот гусли вдарили,
Ой, вдарили, вдарили!
Ой, вдарили, вдарили!..

Батюшка чувствовал сильную усталость, а между тем не смел свободно сесть или облокотиться на стол в присутствии своего начальника, внимательно слушал его рассказы и почтительно соглашался с его приговорами: «Это совершенная истина!» или: «как вам этого не знать! Вам лучше нашего это известно...» Один только мещанин, дальний родственник матушки, держал себя независимо и крепко ударял об стол кулаком, приговаривая: «Мы знаем, у кого гуляем! Ну, вот и все... и мое почтение!.. Так, что ли, отец Иван? Верно!..» По выходе из-за стола благочинный осматривал наше гумно, ригу, огород, на котором спеют дыни, и прочие домашние постройки. Батюшка сопровождал его с открытою головою. Что прикажете делать! Благочинный, говорят, самолюбив и не задумывается чернить того, кто ему не нравится. Лошади его были накормлены овсом до последней возможности. Кучер едва ворочал языком. Лицо его походило на красное сукно. С отъездом начальника батюшка повеселел и сделался разговорчивее. В сумерки независимый мещанин так насытился, что упал среди двора и бормотал околесную: «Какой безмен? на безмене не обвесишь... а вот пенька твоя гнилая. Оттого и недоплачено... верно! ступай к черту!..» Батюшка терпеть не может, когда упоминается дьявольское имя. Он подошел к полусонному гостю и сказал:

— Эй, любезный! любезный! перекрестись!

— Проваливай к черту! — ответил мещанин и перевернулся на другой бок.

Федул еще с утра был навеселе и все приставал к батюшке, чтобы он дал ему денег.

— Пожалуйста, выйди вон,— отвечал ему батюшка,— ты видишь, у меня чужие люди.

— Это уж твое дело,— говорил Федул, растопырив руки, как крылья.— Я сказал, что хочу выпить, ну — и кончено!..

Батюшка дал ему четвертак. Федул положил его на «вою широкую ладонь, подбросил вверх и так крепко ударил по ней другою ладонью, что одна старушка-гостя плюнула и сказала: «Вишь, как его, окаянного, разбирает!..» Вечером я вышел на крыльцо, но — увы! — сойти с него не мог. Федул сдвинул с места большой самородный камень, служивший ступенью, и катал его по двору.

— Дурак! что ты делаешь? — крикнул я на Федула.

— Камень катаю. Человека ломать — грех: не вытерпит, а камень вытерпит, вот я его и ворочаю, да! Руки чешутся, оттого и ворочаю.

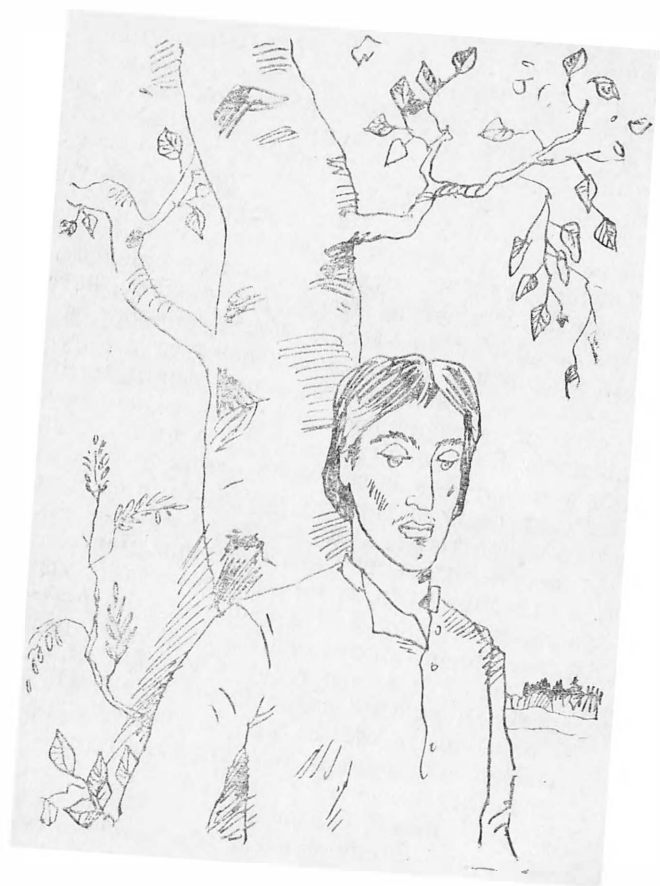
— Положи его на место. С ума ты сошел!

— Не спеши. Покатаю и положу.— Он так и сделал.

На следующие дни повторилась та же история еды и питья с небольшими изменениями. Очищенная для гостей баня оказалась ненужною: они провели ночь как попало и где пришлось, то есть на местах, где кого убил наповал могучий хмель. Повторяю опять: слава тебе, господи! Все разъехались!..

Время, однако, идет да идет своим чередом. Мне уже недолго остается жить в деревне, бить,

как говорится, баклуши. Да и пора отсюда! Вечно слышишь разговоры о пашне, о посевах, заботы о том: упадет ли вовремя дождь, сколько мер дает из кошны рожь, сколько греча, и прочее, прочее. У кого-то заболела овца. Соседа Кузьму видели в новых сапогах. Об этом тоже разговаривают, и некоторые смотрят на Кузьму с завистью. Тетка Матрена сушила на печи лен и чуть не ежгла избы,— все это переходит из уст в уста и возбуждает разные толки. Матушка опечалена предстоящей со мною разлукою, prepares мне жирные пышки, едобные сухари и разные крендели. Отъезд назначен завтра. Несмотря на скуку, которая на меня напала здесь в последние дни, я с грустью обошел знакомые поля, побывал и в лугу и в лесу и,— стыдно сказать,— проходя мимо окна черничек, остановился в раздумье... Окно было занавешено. Калитка была заперта. А что, если бы Наталья Федоровна сидела под окном и позвала меня в свою светлую горенку, ужели бы я отказался с нею проститься?.. Признаюсь, во мне все-таки таится задняя мысль, что эти страницы могут попасть в чьи-либо руки. Я не смею высказать того, что творится теперь и что творилось прежде в моей душе... Дорого мне стоило сдержать свое честное слово, много я вынес тоски и борьбы, но — я его сдержал: я уже не видал более милой Наташи... Только уехать отсюда нужно скорее, непременно скорее, иначе силы мои упадут. Итак — в город. И потянется снова однообразная семинарская жизнь. И пойдут бесконечные уроки, замечания, выговоры и... полно заранее горевать! До свидания, родной мой уголок! Спасибо тебе за приют, за тот покой, которым ты меня окружал. Быть



может, по прошествии года, снова приведет меня бог сидеть у этого, отворенного в сад, окна, смотреть на эту темную зелень и вдыхать запах росистой травы, и, быть может, снова войдет в мою комнату, как входит она теперь, наша молчаливая кухарка и молвит, почесывая по привычке спину: «Васплий Иваныч! самовар подали. Иди!..»

1 сентября

Ну, вот мы и в городе. Стоим покамест на прежней квартире, в старом домишке сварливой, неопрятной мещанки, которая, узнав, что я не буду более ее жильцом, насчитывает на батюшку лишние два рубля. «Давай, говорит, давай. Небось не обеднеете! Вы сами дерете с живого и с мертвого...» Батюшка уже был у профессора и условился с ним в цене, но что-то хмурит брови: верно, моя новая квартира обойдется ему не дешево. Яблочкин ушел от меня недавно. Не знаю, потому ли, что я его несколько времени не впдал, лицо его показалось мне страшно худо и бледно. Но как он бывает хорош, когда начинает с увлечением о чем-нибудь говорить! Голубые глаза горят, щеки покрываются яркою краскою, белокурые, вьющиеся от природы волосы закидываются назад и открывают белый, широкий лоб. Сообразно настроению души, черты лица меняются ежеминутно. Во время разговора все члены его приходят в движение.

— А, Белозерский! — воскликнул он, отворяя дверь в мою комнату, — приехал? ну, молодец! Давай руку. Эх, дружище! как тебя в деревне-то откармлил! вот что значит батюшкин да матушкин

сын, не то что наш брат, сын пономаря и круглый сирота. Как поживаешь?

— По-прежнему,— отвечал я.

— С одинаковым душевным спокойствием? Ну, и прекрасно. Это в тебе наследственная добродетель. Отец твой, как ты сам не раз говорил, тоже ничем не возмущается. Главное, ты умный и добрый малый, за что я от души тебя люблю. А знаешь ли что? На днях я познакомился с одним молодым человеком, окончившим курс в Московском университете; он служит здесь чиновником. У него прекрасная библиотека. Хочешь, душа моя, читать? как сыр в масле будем кататься.

— Еще бы не хотеть! Давай только книг получше!

— Ох, ты! получше... вкус-то у тебя немножко испорчен. Ну, да исправится со временем, ничего.

— Где ты провел каникулы?

— В деревне одного помещика. Учил его ротозея-сыннишку первым четырем правилам арифметики. Ну, душа моя, помещик! Представь себе откормленного на убой быка, с черными щетинистыми усами, с угреватой расплывшимся лицом,— вот его портрет. Чем, ты думаешь, он занимается? Лежит на мягком диване, в вязаной красной ермолке, в шелковом халате, в пестрых туфлях, и насвистывает разные марши. «Гришка! Поддай трубку!..» Заметь: стол стоит у его изголовья, на столе табак и трубка. Чего бы, кажется, кричать? Этот Гришка до того загнан и запуган, что совсем почти потерял дар слова и движется с потупленной головою и унылым лицом, как живая кукла. Такой проклятый бык, ни одного журнала не вы-

писывает! Дочка у него тоже замечательное в своем роде создание: раздавит кто-нибудь при ней муху — она чуть не падает в обморок; увидит на своем платье козявку — поднимает крик. Однажды вечером влетел в комнату жук. Барышня извизгнула. Сенные девки, с вениками и с полотепцами в руках, начали метаться из угла в угол за бедным насекомым. Наконец победа была одержана: жук вылетел в окно. Барышня приняла лавровишневых капель и легла в постель. В доме все притаило дыхание; даже бык на некоторое время перестал насвистывать свои марши...

— Ну что же, ты не поссорился с ними?

— Нет, выдержал. А солоно было! На первых порах барину угодно было посылать меня за водой. «Молодой человек, принесите-ка мне воды!» Я ограничивался тем, что передавал его приказания в переднюю: «Григорий! барин требует воды». Или: «Молодой человек, набейте-ка мне трубку!» Я опять отпирывался в переднюю: «Григорий! барин требует трубку». И тому подобное. С этого времени барская спесь перестала рассчитывать на мою холопскую услужливость. Однажды я читал стихотворения Шенье. Одно из них произвело на меня такое впечатление, что я позабылся и сказал вслух: «Что это за прелесть!» — «Чем вы восхищаетесь? — спросила меня слабонервная барышня. Я показал ей прочитанные мною строки. «В самом деле очень мило». — «Переведи, Наташа, по-русски, — промышчал бык, — я послушаю». Наташа попробовала перевести и не смогла. «А ну-ка вы, господин учитель». Я перевел. Бык взбесился. «Как, черт возьми! Какой-нибудь кут.., (он хотел сказать: кутейник, но поправился), какой-нибудь

молодой человек, учившийся на медные деньги, свободно владеет французским языком, а у нас пять лет жила француженка, и ты мне не можешь перевести стихотворения,— а?.. После этого пусть дьявол возьмет всех ваших гуверпанток! Вот что!..» Барышня долго на меня дулась за то, что я будто бы хотел порисоваться перед ее панашею...— Нет ли у тебя чего-нибудь покурить?

— Ничего нет. Ты знаешь, я почти не курю.

— Скулишься, душа моя,— это скверно!

— Что ж делать! Батюшка и без того жалуется на большие расходы. Поздравь меня, Яблочкин: я буду жить у нашего профессора К.

— Будто? Ты не шутишь?

— Нисколько. Так угодно моему батюшке.

— Жаль. Верно, старик твой еще не утратил раболепного уважения к бурсе и думает, что всякий профессор есть своего рода светило — *vir doctissimus*.

— Что ж ты находишь тут дурного?

— А то, что в квартире своего наставника ты займешь должность камердинера, разумеется, если ему понравишься, а не понравишься — займешь должность лакея.

— Ну, далеко хватил! Увидим!

— Увидишь, душа моя, увидишь! Во всем этом я вижу только одну хорошую сторону: квартира твоя как раз против моей, стало быть, ты можешь навещать меня, когда тебе вздумается. У меня теперь пропасть дела. Старушка-чиновница, у которой я живу и с сыном которой приготавлиюсь вместе поступить в университет, ежедневно мне повторяет: «Трудитесь, молодой человек, трудитесь!

Поедете, бог даст, с моим Сашенькою в Москву, я и там вас не забуду». Такая добрая!

— Итак, ты наверное едешь в университет?

— Наверное. Советую и тебе то же сделать.

— Я бы не прочь. Батюшка не позволит. Он не хочет, чтобы я выходил из духовного звания.

— Врешь! Доброй воли у тебя недостает — вот и все! Проси, моли, плачь... что ж делать! Не позволит!.. Я круглый сирота, а, видишь, не вешаю головы! Горько иногда мне приходится, но когда подумаю, что я пробиваю себе дорогу без чужой помощи, один, собственными своими силами, что кусок хлеба, который я ем, добыт моим трудом, что перо, которым я пишу, куплено на мою трудовую копейку, что я никому не обязан и ни от кого не зависю, — и на глазах моих выступают радостные слезы... Разве это не отрадно?.. Однако прощай! Мне некогда.

После этого разговора я долго сидел в раздумье и ничего не мог придумать. Я знаю, что батюшка меня не послушает. А такой непреклонной воли, такой энергии, как у Яблочкина, у меня нет. Видно, мне придется идти беспрекословно по той дороге, которую идут другие, подобные мне, труженики.

2

Утром, вместе с батюшкою, я был у профессора Федора Федоровича К. Признаюсь, сердце сильно забилося в моей груди от какой-то глупой робости, когда в первый раз я переступил порог его передней. О нас доложил мальчуган, одетый в нанковый, с разодранными локтями, бешмет. «Пусть войдут», — послышалось за дверью. Мы вошли. Это



был кабинет профессора. Он сидел за письменным столом и курил папиросу. На коленях его мурлыкал серый котенок. С жадным любопытством осматривал я эту комнату, это недоступное мне доселе святилище. Над диваном висели, в деревянных рамках, за стеклами, засиженными мухами, портреты неизвестных мне духовных лиц. В маленьком шкапе на одной только полке стояло несколько учебных книг; две остальные полки были пусты. На столе лежали разбросанные тетрадки и засохшие перья. Занавески на окнах потемнели от пыли. Вообще комната не отличалась особенною чистотою. «Садитесь, отец Иван, без церемонии», — сказал профессор, не трогаясь с места, не переменив ни на волос своего покойного положения, вероятно из опасения потревожить дремавшего котенка. Батюшка, прежде нежели сел, указал на меня и поклонился в пояс профессору. «Отдаю его вам под ваше покровительство. Учите его добру и

наблюдайте за его занятиями. Покорнейше вас прошу», и опять последовал низкий поклон. «Хорошо, хорошо! Потакать не станем. Впрочем, он из лучших учеников; следовательно, при моем надзоре, вы можете быть спокойны насчет его дальнейших успехов». — «Покорнейше вас благодарю!» — отвечал батюшка и опять поклонился. Профессор встал и отворил дверь налево. «Вот комната, которую будет занимать ваш сын». Комната оказалась не более четырех квадратных аршин, с тусклым окном, выходившим на задний двор. Подле стены стояла узенькая кровать, когда-то окрашенная зеленою краскою. Своею отделкою она напомнила мне кровати нашей семинарской больницы. Под задними ножками были подложены кирпичи, потому что они были ниже передних. В углу висел медный рукомоЙник, под которым па черной табуретке стоял глиняный таз, до половины налитый грязною водою. Стены были оклеены бумажками, которые во многих местах отклеились и висели клоками. «Приберется, хорошая будет комната, — сказал профессор, — пусть только занимается делом. Мешать ему здесь никто не станет...» — «Это главное, это главное! — повторил батюшка, — об удобстве не беспокойтесь. Мы люди привычные ко всему». — «И прекрасно! пусть с богом переезжает». — «Когда прикажете?» — «Хоть сейчас, мне все равно. Скажите вашему сыну, чтобы он поприлежнее занимался, а голодать за моим столом он не будет: я люблю хорошо поесть. Что вы делали во время каникул?» Последние слова относились ко мне. Я покраснел. Сказать прямо, что я возыл снопы, казалось мне как-то неловко. «Почти ничего», — отвечал я. «Это дурно!

Надо трудиться: без труда далеко не уедешь». — «И я ему то же внушаю», — сказал батюшка. «Так и следует. Вы думаете, мне вот легко досталось, что я вышел в люди? Нет, не легко! Шестнадцать лет я не разгибал спины, сидя за книгами, да никакой твари не обидел ни словом, ни делом. У нас заносчивостию не возьмешь. Это, молодой человек, вы примите себе к сведению. Иначе целый век будете персванивать в колокола и распевать на клиросе». Во время этой речи профессор сидел и поглаживал рукою котенка. Мы почтительно стояли у порога. Батюшка тяжело вздыхал. «Прошу вас не оставить его своим вниманием». — «Хорошо, хорошо!» Затем мы поклонились и вышли.

На обратном пути батюшка внимательно рассматривал огромные вывески на каменных домах, читал их и торопливо давал дорогу всякому порядочно одетому человеку. Мне кажется, он немножко как бы одичал, живя безвыездно в своей деревне. Отдохнув несколько в горенке нашей старой квартиры, где, кроме нас, не было ни одной души, он сказал мне: «Ну, Вася, тебе уже девятнадцать лет; стало быть, ты можешь понимать, что хорошо и что дурно. Учись прилежно. Старших слушай и береги деньги. Я их не жалею и поминаю тебя к профессору, желая тебе добра. Смотри же, не обмани моих надежд!» Мне было что-то очень грустно. «Батюшка, — сказал я. — Яблочкин едет в университет. Позвольте и мне с ним туда же приставиться». — «Пусть он едет. Час ему добрый. А ты пребывай в том звании, для которого ты призван, и мечты свои оставь, если не хочешь меня обидеть». Я утер украдкой слезу и начал собираться к переезду на новую квартиру.

Вот я и на новоселье. Батюшка отправился домой ночью, потому что спешил к посеву ржи. Сегодня в первый раз мне пришлось обедать за одним столом с профессором. У меня недостает слов выразить, в какое затруднение поставил меня этот обед! На столе стояли два прибора, и каждый был накрыт особою салфеткою. Я решительно не знал, что мне с нею делать и куда мне ее положить. Спасибо, что профессор вывел меня из замешательства своим примером. Далее дошло дело до серебряной ложки, похожей на лодочку, тогда как я привык обходиться с деревянною, круглою. Неловко без привычки, да и только! Того и смотри, что оболую щами или скатерть, или свой атласный черный жилет. Когда мне пришлось взять на свою тарелку кусок жареного мяса и разрезать его, я сделал-таки глупость: брызнул на белую скатерть подливкою и окончательно потерялся. Мои длинные ноги, казалось, стали еще длиннее. Я не знал, куда их девать. Попробовал протянуть их свободно под столом, но — увы! — толкнул ножку стола и коснулся ноги профессора. Подумал, подумал — и с величайшей осторожностью поместил их под свой стул. К счастью, в продолжение обеда профессор почти ничего не говорил; иначе как бы я мог соображать ответ и в то же время управляться с ножом и вилкою?.. Прислуживала нам старая кухарка, одетая опрятно и, как видно, хорошо знающая свое дело. Из-за стола я вышел голодным, потому что не смел дать воли своему аппетиту, не желая показаться человеком, никогда не видавшим порядочного куска. Проклятая застенчивость!..

— Ну, Белозерский, дай-ка мне папиросу; они вон на окне лежат,— сказал мне Федор Федорович, выходя из-за стола,— да, пожалуйста, будь поразвязнее и уж извини, брат, что я начинаю с тобой обращаться на *ты*. Смешно же нам церемониться: ты проживешь у меня не один день...

Так, подумал я, вот и первое сближение ученика с профессором. Посмотрим, что будет далее.

— Позвольте узнать, что вы посоветуете мне прочитать по части философии?

Он рекомендовал мне следующее:

Опыт науки философии, Надеждина;

Опыт системы нравственной философии, Дроздова;

Опыт философии природы, Кедрова, и несколько разных руководств по логике и психологии.

— Все это,— сказал он,— вы можете спросить в семинарской библиотеке.

«Ну,— подумал я,— эта песня потянется надолго. Библиотекарь, занимающий вместе с тем и должность профессора, когда попросишь у него какую-нибудь книгу, или отзывается недосугом, или тем, что ключ от библиотеки забыт им дома, или, когда бывает не в духе, просто откажет так: «Вы просите книги, а, наверное, урока не знаете... Читатели!.. Трепать берете, а не читать... стучайте, откуда пришли!..»

В продолжение этого дня у Федора Федоровича не мало пребывало лиц нашего духовного сословия. Он принимал их не одинаково. Одних приглашал в гостиную и указывал на стул, говоря:

«Садитесь без церемонии. Ну, что у вас нового? Каково уродился хлеб?» (последний вопрос он предлагает почти всем; желал бы я знать, что ему за дело до урожая?) Другие останавливались на пороге гостинной и объясняли ему свои нужды в таких робких выражениях, сопровождая их такими глубокими поклонами, принимали на себя такой уничиженный, раболепный вид, что мне вчуже становилось досадно и горько. Федор Федорович ходил по комнате, играя махрами своего шелкового пояса (вероятно, он никогда не снимает в комнате своего халата), некоторым обещал свое покровительство, некоторым говорил: «Не могу, не могу! Тут не поможет мое ходатайство». Остальных выслушивал в передней и, бросив быстрый взгляд на какое-нибудь замасленное, потертое полукафтанье, отрывисто восклицал: «Некогда! приходи в другое время!» Наконец за одним дьячком просто захлопнул дверь, сердито сказав: «Надоели! всякая дрянь лезет!..» Заглянув случайно в кабинет, я увидел под письменным столом несколько бутылок рому, голову сахару, а на столе два фунта чаю. Кстати о чае. После вечерни, когда был подан самовар, Федор Федорович послал меня за табаком. «Вот, говорит, тридцать копеек серебром; возьми четвертку второго сорта турецкого, только смотри среднего, а не крепкого». Табаку я купил, но возвратился промокшим до костей, потому что дождь поливал, как из ведра.

— Ну, что,— сказал он,— промок?

— Ничего,— отвечал я.

— Выпей вот чашку чаю.

Чай был уже холоден и так жидок, что походил на мутную воду; однако ж я не смел отказаться, вы-

пил и опрокинул чашку. «Не хочешь ли еще?» Я поблагодарил и отказался. Федор Федорович положил в жестяную сахарницу возвращенный ему мною кусочек сахара, замкнул ее и приказал мальчику прибрать самовар.



После ужина, за которым я сидел уже несколько смелее, Федор Федорович вышел в переднюю, остановил маятник стенных часов, чтобы он не беспокоил его ночью своим стуком, и дал мне медный подсвечник и сальную свечу. «Если нужно, можешь зажечь». Тут он заметил дремавшего на стуле мальчугана, которого зовет Гришкой, и дернул его за вихор. «Пошел, чертенок, в кухню. Видишь, нашел место, где спать!» Комната моя, при месячном свете сквозь тусклые стекла, показалась

мне пустым, заброшенным чуланом. Я попробовал отворить окно: с заднего двора пахнуло навозом, и я с досадою его закрыл. Лег на свою жесткую кровать, но заснуть не мог: воображение мое работало неутомимо. Мне вспомнились наши знакомые поля, покрытые желтою рожью, моя светлая, уютная горенка и темный кудрявый сад. И вот яснее и яснее возник передо мною образ улыбающейся женщины, забелелось ее открытое плечо, и я почувствовал крепкое пожатие нежной руки. «Что со мною», — подумал я и приложил руку ко лбу; лоб горел, как в огне. «Неужели я простудился? Нечего сказать, не весело мое повоселье». И медленно и тихо поднялся я с кровати, чтобы не разбудить спавшего профессора, зажгел свечу и написал эти строки.

5

Теперь снова за труд. Все начинает входить в свою обыкновенную колею. Сегодня поутру в нашей семинарской церкви был торжественный молебен, на котором присутствовали профессора и почти все ученики. После того как дьякон провозгласил многолетие всем учащим и учащимся, хор певчих привел в восторг большую часть слушателей своим чуть не сверхъестественным криком; в особенности отличались басы. Из церкви ученики разошлись по классам. Вслед за толпою моих товарищей вошел и я в наш философский класс, дверь которого отпер нам седой сторож, отставной солдат, с лицом, изрытым оспою. Эти каменные, громадной толщины стены, покрытые зеленою краскою, эти белые, местами растрескавшиеся сво-

ды потолка, эта высокая печь, никогда не затапливаемая в зимнее время и существующая неизвестно для какой цели, эти окна с железными решетками, эти черные, изрезанные перочинными ножами столы с обтертыми скамьями и широкая черная доска, утвержденная отлого на трех ножках,— все это показалось мне так знакомо, будто я был здесь назад тому не более двух дней. Воздух сырой, как в подвале, и все вокруг покрыто слоями густой пыли. На доске кому-то вздумалось вывести пальцем: *терпение — великая добродетель*, и слова эти вышли чрезвычайно отчетливо. В классе начались, по обыкновению, толкотня, пересаживанье с места на место, прыганье через столы, ходьба по ним и смутный, бестолковый шум. В одном конце какая-то забубенная голова напевала вполголоса: «Я не думала ни о чем в свете тужить»; в другом кто-то выводил густым басом: «Многая лета! мно-га-я ле-е-та!» — «Куда ты к черту лезешь? — раздался громкий крик, — ногу отдавил!» — «А ты не расставляй их», — отвечал сиплый голос. Я занял свое четвертое место на скамье первого стола. «Слышишь, Краснопольский! — сказал ученик, перегнувшись через мою спину. — Ты, брат, зачем же увез в деревню моего Поль-де-Кока?» — «Забыл отдать, ей-богу забыл!» — отвечал Краснопольский, торопливо доедая мучную булку. «Дай-ка, брат, мне булки-то немножко. Есть, что ли?» — «На вот». — «А стоишь на прежней квартире?» — «Нет, хозяйка отказала». — «Отчего отказала?» — «У меня, говорит, теперь дочь на возрасте». Ученики захохотали. Краснопольский обратился ко мне: «Ты куда пойдешь после класса?» — «На квартиру», — сказа



я. «Пойдем-ка лучше в трактир чай пить, вот что за нашею семинариею, там мало бывает народу». — «Нет, не пойду», — отвечал я. «Ну, как хочешь. Ты где стоишь?» — «У нашего профессора». Краснопольский вытаращил на меня глаза. «У Федора Федоровича?» — «Да». Товарищ мой почесал за ухом и молчаливо отвернулся в сторону. Странно! вот что значит покровительство наставника... Этак, пожалуй, и все станут посматривать на меня недоверчиво... «Тссс.. по местам!» — сказал кто-то. И вдруг все пришло в порядок. Дверь отворилась, и Федор Федорович вошел. Один из учеников, среди глубокого молчания, прочитал «Царю небесный», после чего наш наставник кивнул слегка на все стороны головою: «Садитесь!» Смотря на выражение его лица, на его манеры и поступь, я никак не мог понять, откуда явилась в нем эта перемена. Федор Федорович дома и здесь — это две совершенно противоположные личности. Там он и говорит просто, и ходит как мы все ходим, и на лице его нет чувства собственного достоинства, а в классе и лицо у него другое, и манеры другие, и поступь другая, и даже голос — решительно не его голос. Сию минуту видишь, что это профессор, а не простой человек, Федор Федорович. И вот, подняв голову и помахивая правою рукою, в которой держал шляпу, он прошелся взад и вперед по классу, взъерошил свои волосы; все тотчас сместили, что будет сказана речь, и встали. Он начал: «Господа! я не буду говорить вам об отеческой заботливости и неусыпном попечении вашего начальства, благодаря которым вы так долго отдыхали после учебных занятий. Равным образом я не буду говорить о той важной обязанности,

которая ожидает вас впереди и к которой может привести вас одно только безукоризненное поведение, неразрывно соединенное с постоянным трудом. Все это вам самим должно быть известно. Скажу одно: силы ваши теперь освежились. Итак — вам предстоит с новым рвением взяться за труд, ожидающий вас на широком поле науки. Что касается меня, я употреблю все зависящие от меня средства, чтобы не пропало даром то время, которое вы проведете со мною в этих стенах...» И он торжественно указал левою рукою на стены. «Садитесь!» Мы сели. Сел и Федор Федорович к своему четырехугольному столику и вынул из бокового кармана своего сюртука небольшую тетрадку. Это были его собственные, или, лучше сказать, академические записки о психологии, по которым когда-то учился он сам и которые переделывает и сокращает теперь для нас. Последовало медленное чтение. Федор Федорович взвешивал каждое слово, как иной купец взвешивает на руке червонец, пробуя, не попался ли ему фальшивый. «Самонаблюдение, какого требует психология, по-видимому, не представляет собою занятия трудного, потому что предмет самонаблюдения для каждого человека есть он сам. Но то самое обстоятельство, от которого зависит, по-видимому, легкость психологических исследований, что каждый человек есть сам для себя и предмет, и содержание психологических наблюдений, составляет одну из главнейших трудностей в деле самонаблюдения, потому что человек меньше всего знает то, что он есть. Чтобы наша душа могла наблюдать саму себя, для этого ее мысль, ее сознание должны быть обращены на нее же саму, между тем:

А) познание, приобретаемое нами таким образом о нашей душе, совсем не так ясно, как познание о внешнем мире и других предметах. Познание об этих предметах может быть нам ясным оттого, что они противопоставляются нашей душе как отличное от нее; но наше я не может противопоставить самого себя как внешний предмет. Правда, что при самонаблюдении возможно раздвоение некоторым образом и самопротивопоставление нашего сознания, потому что, кроме акта наблюдения, должны также продолжаться действия наблюдаемые; но при таком разделении сознания обыкновенно ослабляется сила и живость наблюдаемых им психологических явлений. Тогда как во внешнем мире предметы представляются нам в раздельности, мир внутренний является пред внутренним оком в совершенном смешении...»

Я привожу здесь этот отрывок из лекции с тою целию, чтобы он поглубже, так сказать, засел в мою голову. Объяснение раздвоения нашего сознания и самопротивопоставления нашего я, к сожалению, прервалось громким смехом одного ученика, который не сумел удержаться, слушая какой-то уморительный анекдот потешавшего его товарища. Федор Федорович встал, исследовал сущность дела до мельчайших подробностей, виновных поставил к порогу на колени, и казалось, все конечно. Напротив. Началось бесконечное рассуждение об обязанностях воспитанников вообще, воспитанников духовного сословия в особенности. Половина слушателей зевала, другая слушала своего наставника по привычке его слушать. Стоявшие на коленях ученики, едва он оборачивал к ним свою спину, или показывали ему кулак, или дразнили

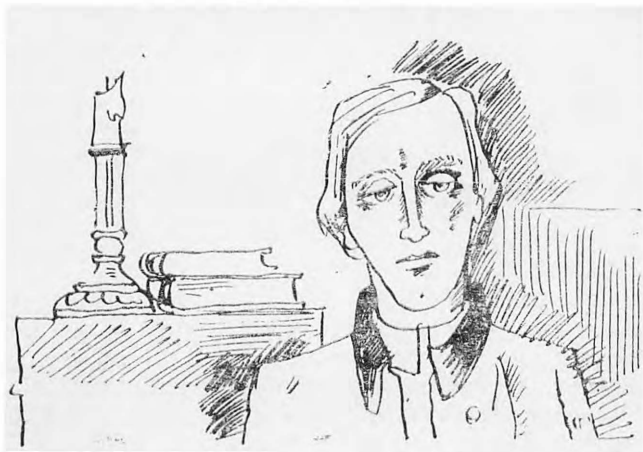
его языком. Раздался звонок — и у всех просияли лица. Федор Федорович указал в тетрадке на место, до которого нужно было выучить к следующему дню урок, и класс окончился. Это свободное и не нужное ни на что время, от десяти до одиннадцати часов, куда явится новый профессор, — у нас в некотором роде антракт. Ученики выходят в коридор, толкаются в классе, словом происходит обычная неурядица. О профессоре истории, класс которого начался в одиннадцать часов, я скажу после. Нельзя же вдруг: хорошенького понемножку. В коридоре я встретил Яблочкина. Он сердится, что я давно к нему не захожу.

6

Квартира Яблочкина не велика, но такая уютная и чистенькая, что прелесть! Стулья обиты новым ситцем. Столик полированный. В простенке зеркало. На окнах расставлены цветы, которые, по словам Яблочкина, старушка-хозяйка любит до страсти. Когда я вошел в переднюю, крепостной человек этой старушки снял с меня шинель. Предупредительность его меня так смутила, что я покраснел до ушей. Мне никогда не случалось пользоваться чужими услугами. Яблочкин что-то переводил из Горация.

— Здравствуй, Вася! — сказал он, пожимая мне руку, — насилу обо мне вспомнил. — И бросил в сторону книгу. Лицо его, что случается редко, было такое веселое и светлое, что я не мог удержаться и спросил, что это значит. — Да так, душа моя, ничего нет особенного. День ясный. Кругом тихо. В комнате пахнет цветами. На ногах у

меня, видишь (он поднял со смехом одну ногу), — новые сапоги. Задачку я написал в один присест. Стал переводить Горация — переводится без труда: вот я и рад. Так-то, приятель! — Яблочкин обнял меня и ударил ладонью по плечу. — Ну, как-во поживаешь на новой квартире?



— Так себе, — сказал я, — ни хорошо, ни дурно. Дурно то, что некоторые товарищи, благодаря моей новой квартире, посматривают на меня косо.

— А ты этого не предвидел? Разумеется, с этого времени тебя будут бояться как пересказчика, доносчика и тому подобное. Впрочем, это вздор!.. Что ж, ты просился у своего отца в университет?

— Просился. Я наперед тебе говорил, что он откажет.

— Вот, ей-богу, народ! Видит пробитую дорогу и думает, что лучше этой дороги и нет и не должно быть... А все-таки у тебя нет воли; ну, отчего бы не сделать по-своему?

— Это дело решенное, — отвечал я. — Поговорим о другом.

— То есть о семинарии? Изволь. Вчера, в начале класса, было обращено к нам вступительное слово такого рода: «Теперь мы снова приступаем к занятиям. На экзамене перед каникулами отцу ректору угодно было заметить, что некоторые из вас отвечали ему вяло. На будущее время я требую, чтобы каждый, кого я ни спрошу, читал мне лекцию без запинки. А кто во время чтения будет поглядывать на потолок да выделять эти: гм... гм... того, хотя бы он стоял в первом десятке, я сопхну в третий разряд. Вот вам и все!..» Что ты на это скажешь?

— Уж мы не раз это слышали. Приказано — стало быть, нужно исполнять.

— Ну, нет, душа моя! Зубрить я не стану. И если бы в самом деле пришлось мне во время ответа взглянуть на потолок или в сторону — преступление было бы не важное. Экая бурса! Попала на одну ступень и окаменела: ни молодеет, ни стареется...

В эту минуту с журналом в руке вошел в комнату гимназист, сын старушки. Яблочкин отрекомендовал ему меня как своего лучшего товарища. При постороннем человеке мне тотчас сделалось неловко, и я ломал свою голову из-за пустейшего вздора: опять ли сесть мне на прежнее место или приличнее будет постоять. Гимназист обратился к Яблочкину:

— Алексей Сергееч! я прочитал вот в этом номере «Отечественных записок» одну из статей: разбор сочинений Пушкина. Что за язык! Что за энергия! Только, знаете ли, я не доверяю похвалам, которые рассыпаются здесь его антологическим стихотворениям. Они мне не нравятся. Я люблю более всего то, что берется прямо из окружающей нас жизни.

— В вас мало поэтического чутья. Что ж такое! Вам не нравится и «Каменный гость» Пушкина.

Тут у них начался спор о художественном воспроизведении действительности в поэзии, об образности, о пластике. Из слов их я понимал немного, не хочу таиться; самолюбие мое сильно страдало. Наконец старушка зачем-то кликнула своего сына, и он ушел.

— Этот господин, верно, хорошо развит, — заметил я Яблочкину.

— Ничего. Он отличный малый. Трудится много, читает с толком. Развитаем своим обязан, конечно, не гимназии, от которой пахнет мертвечиной, а самому себе.

— Нет ли у тебя чего-нибудь почитать? Дай, пожалуйста, — сказал я.

— Насилу ты надумался. Бери, душа моя, книг достанет. Вот «Мертвые души» Гоголя; не читал?

— Нет.

— Ну, возьми.

Скоро будет полночь. На дворе шумит дождь. За стеною храпит Федор Федорович, и где-то изредка чирикает сверчок. Я только что дочитал

«Мертвые души» и спешу сказать о них несколько слов под влиянием свежего впечатления. Я взялся за книгу еще с утра. Нечего говорить, что я читал ее с увлечением. Время, проведенное мною за обедом, казалось мне бесконечно длинным, и я вертелся на стуле, придумывая, под каким бы предлогом выйти из-за стола, чтобы снова приняться за чтение. «Или ты нездоров?» — сказал мне Федор Федорович. «Нет, ничего». — «Что ж ты вертишься?» — «Так. Есть что-то не хочется». — «Ну, выходи. Кто ж мешает?» И я вышел. Так вот кто этот Гоголь!.. И об этом-то Гоголе одному из наших наставников угодно было выразиться, что произведения его пахнут кухней и конюшнею, что им выведены на сцену какие-то обжоры и разлая сволочь, что все это уродливо и безобразно. Ну, нет, почтеннейший наставник! Уж на этот раз позвольте с вами не согласиться. Чичиков, Плюшкин, Собакевич, Ноздрев — это такие личности, которые никогда не выйдут из моей памяти. Читая книгу, мало того, что я их вижу, — мне кажется, я их осязаю, мне кажется, я чувствую их дыхание. Жизнь ключом бьет из каждой строки! Господи, да какой же я дурак! Прожить девятнадцать лет и не прочитать ни одной порядочной книги!.. Все живое до того мне чуждо, как будто я существую на другой планете и нет у меня ни костей, ни плоти. Но, слава богу! этот день не пропал у меня даром.

10

Яблочкин дал мне еще несколько книг. Но читать почти некогда: так много времени отнимают классы и затверживание наизусть разных уроков.

73

Право, досадно! Иногда сидишь, сидишь в классе и задашь себе, ради скуки, вопрос: из-за чего я тут сижу? И никак не решишь этого простого вопроса. Сегодня, например, в одиннадцать часов утра явилась в класс высокая, тощая и бледная фигура, одетая, по своему обыкновению, в длиннохвостый фрак со светлыми пуговицами. Это был наставник, читающий нам геометрию. После молитвы «Царю небесный» черный фрак двигался несколько минут из угла в угол по классу, затем последовали старческий кашель, щелчок по табакерке, нюханье табаку и вытирание носа платком. Мы ко всему этому привыкли и ждали, что будет далее. «Дайте мне мелу!» Ученик подал ему кусок мела и вытер грязною тряпкою черную доску. Так как тряпка была в мелу и выначкала ему руки, он ударил ладонью об ладонь и при этом, разумеется, счел нужным, на потеху товарищей, скорчить рожу. И вот на доске появились углы и треугольни-



кп. Геометрия не считается у нас в числе главных предметов преподавания, и потому на черчение наставника никто не обращал ни малейшего внимания. Он отставлял время от времени свою работу, нюхал табак, поглядывал паисиком на изображенные им круги и треугольники и снова продолжал: $AB + AC = AD + AC = S$, и притом угол $BAC...$ и так далее. Позади меня два ученика преспокойно играли в *три листика*, искусно пряча под столом избитые, засаленные карты. Вдруг один из них, вероятно в порыве восторга, крикнул: «Флюст!» Наставник вздрогнул и обернулся. «Какой флюст? Кто это сказал?» И, подойдя к нашему столу, ни с того ни с сего напал на сидевшего подле меня товарища. «А, в карты играть?.. хорошо!.. Пойдем к инспектору». Бедняк струсил и указал на виновного. «Это вот он что-то сказал». — «А, это ты! — крикнул наставник, — хорошо!.. Пойдем к инспектору». — «Помилуйте, — отвечал с улыбкою ученик, — я сказал: плюс, а не флюст». — «Пошел на середину класса!.. пу, стой тут. Где карты?» — «У меня никаких нет карт». — «А, нет... выворачивай карман. Так... Выворачивай другой... Гм!.. нет... расстегни жилет». Карт нигде не нашлось: они уже давно были переданы в десятые руки. «Ну, черт вас разберет! Зачем ты нарушаешь порядок?» — «Виноват! Я увлекся вашею задачею; вы, кажется, хотели поставить минус, а мне показалось, что пужно плюс, я и крикнул: плюс!» — «То-то увлекся... Пошел на место!» Дипь, динь, динь! Пробило двенадцать часов. «Уже?» — спросил наставник. Обратился к журналисту и подписал в журнале свою фамилию. «Дайте-ка мне геометрию...» Книга была подана. «От сих до этих», —

сказал он и провел своим острым ногтем на полях страницы две черты.

Я так спешил на квартиру, что рубашка моя взмокла от пота: мне страшно хотелось есть. После обеда опять пришлось тащиться в семинарию, чтобы перевести полстранички из Лактанция. И какой перевод!.. Тянут слово за словом; иного хоть убей, не знает, в каком времени стоит глагол, и не различит подлежащего от сказуемого. Только время пропадает даром!

15

Однако мне невозможно вести дневник свой, как бы хотелось, то есть заносить в него впечатления свои ежедневно: и времени свободного у меня мало, и боюсь, что Федор Федорович нечаянно отворит дверь в мою комнату и поймает меня на месте преступления с поличным в руках. Жаль! Знаю, что лица, которые я здесь вывожу, очерчены бледно, что язык припахивает бурсою, но все-таки эта работа доставляет мне удовольствие. Она несколько меня не стесняет, она не походит на известное рассуждение из заданной темы, где необходимы приступ, деление, доказательства, сравнения, примеры и заключение. Пишу то, что вижу, что проходит у меня в голове, что затрагивает меня за сердце. Материалов у меня не слишком много, потому что среда, в которой я вращаюсь, уж чересчур тесна. Не спорю, что она имеет свою физиономию, что на ней лежит своя оригинальная печать, но для меня-то нет в ней нового ни на волос. Как бы то ни было, буду писать, когда случится, без особенной последовательности и строгой связи. Быть может, кто-нибудь прочтет эти строки

через двадцать или тридцать лет и скажет: так вот при какой обстановке шло воспитание наших отцов!.. Прочтет — и не бросит в нас камня.

Нынешний день была у нас лекция французского языка, который, за неимением профессора, читается учеником богословия, так называемым *лектором*. Этот богослов, в пестрых клетчатых штанах и в ярком, разноцветном жилете, держит себя важнее, чем кто-нибудь из наших наставников. «Ну-с, — говорит он подслеповатому ученику, голова которого покрыта золотушными струпами, — переводите...» И стоит, покачивая своим вытянутым до невозможности корпусом. Левая нога его картинно отставлена вперед, одна рука занята книгой, другая играет бронзовою цепочкою. Ученик моргает и поглядывает исподлобья налево и направо: «подскажите, мол, анафемы!..» И вот слышится шепот: человек, любящий добродетель... «Не подсказывать, господа! — замечает лектор. — Вы, я думаю, и склонять-то не умеете, а?» Ученик молчит. «Склоняйте: *l'honneur*».

— Именительный *l'honneur*,

Родительный...

— Довольно, довольно! Какой тут лом? Экое произношение! Оно и видно, что вам приличнее держать лом в руках, а не книгу.

В классе раздается сдержанный хохот. Лектор рад, что сказал острое словцо. «Следующий!» — «Я нездоров», — пробасил плечистый верзила, лениво поднимаясь со скамьи с заспанным лицом и закрывая широкою ладонью зевающий рот. «Желудок, верно, обременили?» В классе опять раздается хохот. И таким образом проходит время с пользою для учащихся, с приятностию для наставника.

Вчера Федор Федорович праздновал день своего рождения. К этому событию он приготавливался за неделю вперед. Вот, мол, и тот-то меня посетит, и такой-то у меня будет, — и записывал для памяти, что ему нужно купить. Подчас сидит с латинским лексиконом в руках, приготавливая из хрестоматии перевод странички к следующему классу, и вдруг положит его в сторону и скажет: «Ах, паюсной икры еще падобно, чуть не забыл!» И заметит на бумаге: один фунт паюсной икры. «Икры», — повторит он и задумается, потупив голову; посмотрит на цифры, сделает сложение и плюнет: «Вот оно что! Десяти рублей серебром не хватит, несмотря на то, что чай, сахар и ром у меня пекупленные». Даже со мною он заводит об этом речь: «Вот, мол, каково теперь содержание! на все такая дороговизна, что смерть!» Уж не намекает ли он, что дешево взял с меня за квартиру?.. Григорий, иначе называемый Грипикою, сбился с ног, бегая на рынок и с рынка. Покупка разных разностей, по неизвестной причине, не делалась разом. Потребовалось луку — и Григорий бежит; понадобилось горчицы — и Григорий опять бежит. Только что возвратится, облитый потом: «Грипка! — раздается из кабинета, — пошел сюда! Ступай, возьми уксусу на десять копеек». И Григорий опять бежит, повторяя дорогою: «Уксусу на десять копеек, уксусу на десять копеек». Вечером под этот, в некотором роде, торжественный день Федор Федорович был у всенощной и возвратился оттуда с двумя большими просфорами и тотчас же вывел крупными буквами: на одной — *за здравие*, на другой — *за упокой*. Усталый мальчуган дремал в пе-

редней. Федор Федорович вошел в нее и потянул в себя воздух. «Вишь, как он тут навонял пбтом. Пошел, чертенок, в кухню!» — и дернул его за вихор. Не прошло двух минут, — он уже стоял в своем кабинете на молитве с киевскими святцами в руках. Перед иконою теплилась лампадка.

Наступившее утро ознаменовалось тем, что Федор Федорович надел на себя новый сюртук. Посторонних лиц с поздравлениями не было никого. Приходили только три ученика из нашего класса, которые принесли ему в подарок серебряную солонку, конечно, купленную ими на складчину. Знаю я этих ослов, известных своим тупоумием и проказами на квартире, в доме подозрительного поведения хозяйки... впрочем, это не мое дело. Федор Федорович их обласкал и поблагодарил. Едва затворилась за ними дверь, он начал вертеть в руках подаренную ему вещь, рассматривая ее сверху, снизу, с боков и, наконец, сказал вслух: «Восемьдесят четвертой пробы». В передней кто-то кашлянул. «Что там?» — «Я-с, — отвечал знакомый Федору Федоровичу сапожник. — Честь имею поздравить вас со днем рождения. Вот не угодно ли-с принять кренделек...» Крендель был испечен в виде какого-то мудреного вензеля и кругом осыпан миндалем. «Спасибо, братец, спасибо! Ну что ж, выпьешь рюмку водки?» — «Грешный человек! пью-с». И рюмка была выпита. «А вы, Федор Федорович, уж того-с... замолвите за меня слово в вашей семинарии, вы уж там знаете кому. Насчет лаковых сапог не извольте сомневаться: я сказал, что их сошью — и сошью-с. Такие удеру, — мое почтение». — «Хорошо, хорошо, я постараюсь».

Вечером собралось несколько профессоров.

Прежде всего мне бросилась в глаза та самая черта, которую я заметил недавно в Федоре Федоровиче: все они вели себя здесь совершенно не так, как ведут себя в семинарии. Величия не было ни тени. Смех, шутки, перссыпанье из пустого в порожнее — все это сильно меня изумляло. «Отчего ж, — думал я, — эти люди на нас, учащихся, смотрят с какой-то недоступной высоты? Отчего ни к одному из них я не смею подойти с просьбою: будьте так добры, потрудитесь мне вот это растолковать?..» Поневоле вспомнишь слова Яблочкина, который сказал мне однажды, что молодости нужно дыхание любви, что она не может развиваться под холодом и грозой или развивается медленно и уродливо, что она замирает от ледяного прикосновения непрощенных объятий.

Мне приказано было разносить чай. Мое новое положение в качестве прислуги немножко меня смущало. На подносе все чашки приходили в движение, когда я проходил с ними по комнате. После раздачи чашек я молчаливо останавливался у притоки; порою, по приказанию кого-нибудь из гостей, набивал трубку, причем не один раз говорили мне с какою-то двусмысленною усмешкою: «А ваша милость вкушает от этого запрещенного плода?» — «Нет», — отвечал я. И в груди моей пробуждалось чувство непонятной досады. Разговор оживлялся все более и более. Громче всех говорил профессор словесности, человек почтенных лет, украшенный сединами и лысиною.

— Что вы не женитесь, Федор Федорович, а? Ну, что вы не женитесь? (У него, видите ли, дочь-невеста, так нельзя же о пей не позаботиться: родительское сердце!).

Федор Федорович приятно улыбался:

— Найдите хорошее место, порядочный приход, словом, верное обезпечение в будущем, — вот и женюсь.

— Отчего ж бы вам не остаться в светских?

— Это опять зависит от простой причины: найду выгодным — и светским останусь, мне все равно.

— И семинарию, пожалуй, покинете?

— Почему не так. Завидного тут пемного. Что вы успели выиграть, преподавая восемнадцать лет свою риторику?

— Ничего-с. Был сын дьякона, теперь надворный советник — это, я вам скажу, не маковое зернышко. Потянем еще лямку — пенсия дадут, — вот и выигрыш. Ну-с, а это безделица: ведь здесь сто глаз на вас смотрит, сто ушей вас слушает. Вы имеете влияние па молодые умы, даете им направление... вот вам еще выигрыш. Да что вы думаете о семинарии, а? Позвольте вас спросить? Разве не из семинарии выходят люди с крепкою грудью, об которую разбиваются все житейские невзгоды? Разве не семинария вырабатывает эти железные натуры, которые терпеливо выносят всякий долготный, усидчивый труд? Разве не в семинарии слагаются характеры, которые впоследствии делаются предметом удивления на всех поприщах общественной и государственной жизни? Кто был митрополит Платон, украшение трех царствований? А митрополит Евгений? А граф Сперанский, этот великий государственный муж, это светило умственного мира? То-то и есть! Вот вы и замолчали... Правду ли я говорю, Иван Ермолапч?

Иван Ермолаич сидел за столом в числе четверых своих товарищей по службе, игравших по четверть копейки в карты. Он выкуривал трубку за трубкою и запивал табачный дым крепким пуншем. Лицо его носило на себе отпечаток какой-то внутренней боли, глаза смотрели задумчиво и то-



окливо. Этому человеку у нас не очень посчастливилось. Вступив прямо из академии в должность профессора, он хотел было ввести в своем классе новый метод преподавания, советовал ученикам знакомиться с русскою литературою и выписывать общими силами журналы. Ученики его полюбили. Начальство поставило ему на вид, что он читает не в светском учебном заведении, и приказало ему вперед не умничать. Иван Ермолаич покорился не

вдруг. Ему снова сделали замечание. Он решился оставить семинарию и занять место гражданского чиновника; к сожалению, места не нашлось, и бедняга притих, стал запивать и заниматься делом спустя рукава. Но бывают часы, когда он пробуждается от сна. И льется свободно его одушевленное, увлекательное слово; в классе наступает такая тишина, что ухо слышит жужжанье бьющейся о стекло мухи; но вдруг он приложит руку ко лбу, будто припоминает что-то забытое, вздохнет и замолчит, как порванная струна.

— Так, так! Вы говорите правду, — отвечал Иван Ермолаич. — В особенности меня утешают ваши слова: мы даем направление молодым умам, что нисколько не мешает не спрягать глагол сплю; я сплю, ты спишь...

— Ну, уж это извините! При нашем отце ректоре не заснешь, — заметил сидевший против него гость. — Он еженедельно посещает все классы; примерный, можно сказать, начальник: па волос не позволит отступить от положенного им однажды навсегда правила. Вчера сижу я спокойно за своим столиком; глядь, — он идет. Я вскочил, застегнул второпях на все пуговицы фрак и подошел к нему под благословение. «Продолжайте, — сказал он, — продолжайте...» — «Не угодно ли вам будет кого-нибудь спросить?» — говорю я. «Ну что ж, пожалуй, пожалуй. Ну, ты... читай!» Он указал на одного ученика. Ученик-то попался бойкий, как бишь он прозывается?.. да! Яблочкин. Встал он и начал объяснять лекцию своими словами, и ничего, так, знаете, свободно. Объяснил и стоит — улыбается. «Кончил?» — спросил его отец ректор. «Кончил». — «Ну что ж, вот и дурак... И забудешь

все через полгода». Яблочкин поблуднел, я тоже немножко потерялся. Отец ректор обратился ко мне: «У вас в классе восемьдесят человек. Этак нельзя, нельзя! Если каждый из них будет сочинять ответы из своей головы, вавилонское столпотворение выйдет, непременно выйдет...» Я хотел оправдываться. «Нет, говорит, этак нельзя. Пусть основательно знают то, что для них напечатано или написано; в их возрасте и этого достаточно, очень достаточно...» Повернулся — и ушел. Я и остался как оплеванный и с досады так пробрал Яблочкина, что у него брызнули слезы. (Бедный Яблочкин! — подумал я, — чего ему стоили эти слезы!). Вот вам и сон. Нет, у нас кого хочешь разбудят.

— Так, так, — отвечал Иван Ермолаич, — вам бы следовало наказать этого вольнодумца Яблочкина. Ешь, мол, вареное, слушай говореное.

— Знаем мы эти остроты! знаем!.. Вот вы хотели сделать по-своему, а что?.. сделали?..

— Обо мне нечего говорить. Все молодость: увлекся — и образумился и пою теперь: *«Приидите и поклонимся»*.

— Эх, ну вас! — раздалось несколько голов, — из-за чего вы бились? Чего вы хотели?

Иван Ермолаич молчал и, облокотясь одною рукою об стол, задумчиво смотрел на свои карты. Болезненное выражение его лица ясно говорило, что думает он вовсе о другом.

Сидевший в углу эконома не принимал почти никакого участия в разговоре и вообще держался в тени. Он у нас ничего не читает и, следовательно, не имеет никакого значения, но личность его так оригинальна, что приобрела себе популярность во

всей семинарии. Он положительно убежден, что все мы так уж созданы, что не можем чего-нибудь не украсть у своего ближнего, не можем не надуть его так или иначе, а потому и говорит он об этом — с дровосеком, с водовозом, с поставщиком конопляного масла, словом, с людьми всех сословий, лишь бы пришлось ему вступить с ними в какое-либо сношение по его экономической части. Голова его постоянно занята работой: кому и как сподручно украсть. Благодаря этой работе, он сделался редким учителем воровства. Увидит, что водовоз ест на дворе калач, — поди, говорит, сюда. Тот подойдет. «Ну что, калач ешь?» — «Калач». — «А где взял?» — «Купил». — «Побожись». Тот побожится. «Не верю, брат, — украл». — «Да как же я его украл?» — «Известно, как воруют. За водою рано ездил?» — «На рассвете». — «Ну вот, так и есть. Вот, значит, ты продал кому-нибудь бочки две воды, а потом уж привез ее и сюда. Вот и ешь теперь калач... А дров не воровал?» — «Какие там черти дрова! — скажет рассерженный водовоз. — У ворот-то день и ночь стоит сторож, как же я их украду?» — «Да, да! Ты не придумашь, как украсть!.. Накладешь в бочку поленьев и поедешь со двора и обменяешь их на калачи или на что другое. Вот и вся хитрость. Уж я тебя знаю!» Водовоз почешет у себя затылок и пойдет прочь: ну, мол, ладно! И после в самом деле ест краденые калачи. Подобная история повторяется и с другими.

— Господа! Кто получает «Ведомости»? Нет ли чего нового? — спросил кто-то из гостей. С минуту продолжалось молчание.

— Я просмотрел у отца ректора один нумер,—

отвечал эконо́м, — ничего нет особенного. Пишут, что умер стихотворец Лермонтов.

— А, умер? пу, царство ему небесное. Мне помнится, я где-то читал стихи Лермонтова, а где — не припомню.

Между тем началось приготовление к закуске. На столе появились бутылки. Кухарка хлопотала в другой комнате: разрезывала холодный говяжий язык, холодного поросенка, жареного гуся и прочее и прочее. В это время Иван Ермолаич, пикем не замеченный, вышел в переднюю и стал отыскивать свои калоши. Я подал ему его шинель. «Вы семинарист?» — спросил он меня. «Да, семинарист». — «А к лакейской должности не чувствуете особенного призвания?» — «Нет», — отвечал я с улыбкою. «Ну, слава богу. Что же вы третесь в передней? Шли бы лучше в свою комнату и па досуге читали бы там порядочную книгу... до свидания». Он нагнул па глаза свой картуз — и ушел. Я не оставался без дела: помогал кухарке перетирать тарелки, сбегал однажды за квасом, которого оказалось мало и за которым кухарка отказалась идти в погреб, сказав, что по ночам она ходить всюду боится и не привыкла и ломать своей шеи по скверной лестнице не намерена. Потом опять взялся перетирать тарелки и, по неумению с ними обходиться, одну разбил. Кухарка назвала меня разинею, а Федор Федорович крикнул: «Нельзя ли поосторожнее!» Наконец каждому гостю поочередно я разыскал и подал калоши, пакинул па плечи верхнее платье и, усталый, вошел в свою комнату. Сальная свеча нагорела шапкою и едва освещала ее неприветные стены. Федор Федорович заглянул ко мне в дверь. «Вот видишь, мы там сидели,

а тут целая свеча сгорела даром. Ты, пожалуйста, за этим смотри...»

Эх-ма! *Vanitas vanitatum et omnia vanitas!*

30

Именно: *omnia vanitas!* На квартире невесело, в классе скучно, скучно не потому, что я невнимателен к своему делу, а потому, что товарищи мои слишком со мною необщительны, слишком холодны. Вот, ей-богу, чудак! Неужели они думают, что я в самом деле решусь пересказывать Федору Федоровичу все, что я вокруг себя вижу и слышу? Но тогда я презирал бы самого себя более, нежели кто-нибудь другой. Желал бы я, однако, знать, в чем заключается наблюдение Федора Федоровича за моими занятиями и что понимает он под словами: следить за ходом моих успехов? Уж не то ли, что иногда отворит мою дверь и спросит: «Чем занимаешься?» Вот тем-то, отвечу я. «Ну, и прекрасно. Пожалуйста, не болтайся без дела». И начнет разгуливать по своей комнате, поигрывая махрами шелкового пояса и напевая вполголоса свой любимый романс:

Черный цвет, мрачный цвет,
Ты мне мил навсегда.

Или присядет на корточки середь пола и тешился с серым котенком. «Кисинька, кисинька!.. Эх ты!..» И поднимет его за уши. Котенок замяучит. «Не любишь, шельма, а? не любишь?» Положит его к себе на колени, или прижмет к груди и ласково поглаживает ему спину и дает ему разные нежные названия. Котенок мурлычет, жмурит

87

глаза и вдруг запускает в ласкающие его руки свои острые когти. «А чтоб тебя черт побрал!» — крикнет Федор Федорович и так хватит об пол своего любимца, что бедное животное ошалеет, проберется в какой-нибудь угол и, растянувшись на полу, долго испускает жалобное: мяу! мяу!

Я заметил, что Федор Федорович бывает в наилучшем расположении духа в праздничные дни, после сытного обеда, который оканчивается у него объемистой мискою молочной каши, немедленно запиваемой кружкой густого красного квасу. В прошлое воскресенье, едва кухарка успела убрать со стола посуду и подмести комнату, Федор Федорович лег на диван, подложил себе под локоть пуховую подушку, приказал мне подать огня для папиросы и крикнул: «Гришка!» — «Ась!» — отвечал Григорий из передней. «А ну-ка, поди сюда». Мальчуган вошел и остановился у притолоки. Посмотрел я на него, — смех да и только: волосы всклокочены, лицо неумыто, рубашка в сальных пятнах, концы старых сапог, подаренных ему Федором Федоровичем, загнулись на его маленьких ногах вроде бараньих рогов. Но молодец он, право: как ни дерут его за вихор, всегда весел! «Ну что ж, ты был сегодня у обедни?» — спрашивает его Федор Федорович. «А то будто нет». — «И богу молился?» Григорий почесался о притолоку и ухмыльнулся: «Как же не молиться! на то церковь». — «Ну, где ж ты стоял?» Григорий смеется. «Чему ты смеешься, *stultus*?» Звук незнакомого слова так удивил мальчугана, что он фыркнул и убежал в переднюю. «Ты не бегай, рыжая обезьяна! Пошел, сними с меня сапоги!» Григорий повинился. Между тем Федор Федорович лениво

зевал и осенял крестом свои уста. «Ну, рыжий! хочешь взять пятак?» — «Хочу», — отвечал рыжий и протянул за пятакoм руку. «Э, ты думаешь — даром? Представь, как продают черепепники, тогда и дам». Мальчуган остановился середь комнаты, прищурил глаза и, медленно размахивая правою рукою, затянул тонким голосом:

Эх, лей, кубышка,
Поливай, кубышка,
Не жалеи, кубышка,
Хозяйского добришжа.
За хозяйской головою
Поливаем, как водою.
Кто мои черепепники берет,
Тот здрав живет.
Подходи!..

При последнем слове он бойко повернулся на каблуке и топнул ногою об пол. Вслед за тем я получил приказание остановить маятник часов, и Федор Федорович погрузился в безмятежный сон.

6 октября

Заходил я, ради скуки, к Яблочкину и застал его, как всегда, за книгою. Он сидел перед окном, подперев руками свою голову, и так был углублен в свое занятие, что не слышал, как я вошел. «Ты, брат, все за книгами», — сказал я, положив руку на его плечо. Он вздрогнул и быстро поднялся со стула. «Тьфу! как ты меня испугал! Отчего ты так редко у меня бываешь? Или боишься своего наставника?» — «Что за вздор! — отвечал я, — нашлось свободное время, вот я и пришел. Нет ли чего почитать?» — «Я тебе сказал: только бери,

книжки найдутся». Яблочкин вздохнул и прилег на кровать. «Грудь, душа моя, болит, — сказал он, смотря на меня задумчиво и грустно, — вот что скверно! Ах, если бы у меня было твое здоровье, чего бы я не сделал! чего бы я не перечитал! Лентяй ты, Вася!» — «Нет, Яблочкин, ты меня не знаешь, — отвечал я несколько горячо, — я так зубрю уроки, что другой на моем месте давно бы слег от этого в могилу или сделался идиотом». Он посмотрел на меня с удивлением. «Откуда же в тебе эта любовь к мертвой букве?» — «Тут нет никакой любви. Я смотрю на свои занятия как на обязанность, как на долг. Я знаю, что этот труд со временем даст мне возможность принести пользу тем, в среде которых я буду поставлен. Знаешь ли, друг мой, — продолжал я, одушевляясь, — сан священника — великое дело. Эта мысль приходила мне в голову в бессонные ночи, когда, спрятав учебные книги, усталый, я бросался на свою жесткую постель. Вот, — думал я, — наконец, после долгого труда, я удостоиваюсь сана священнослужителя. Падает ли какой-нибудь бедняк, убитый нуждою, я поддерживаю его силы словом евангельской истины. Унывает ли несчастный, бесчестно оскорбленный и задавленный, — я указываю ему на бесконечное терпение божественного страдальца, который, прибитый гвоздями на кресте, прощал своим врагам. Вырывает ли ранняя смерть любимого человека из объятий друга, — я говорю последнему, что есть другая жизнь, что друг его теперь более счастлив, покинув землю, где царствует зло и льются слезы... И после этого, быть может, я приобретаю любовь и уважение окружающих меня мужичков. Устраиваю в своем доме школу для де-

тей их обоего пола, учу их грамоте, читаю и объясняю им святое евангелие. Эти дети становятся взрослыми людьми, разумными отцами и добрыми матерями... И я, покрытый сединой, с чистою совестью ложусь на кладбище, куда как духовный отец проводил уже не одного человека, напутствуя каждого из них живым словом утешения...»

Яблочкин пожал мне руку.

— У тебя прекрасное сердце! Но, Вася, нужно иметь железную волю, мало этого, нужно иметь светлую, многосторонне развитую голову, чтобы устоять одиноко на той высоте, на которую ты думаешь себя поставить, и где же? В глуши, в какой-нибудь деревушке, среди грязи, бедности и горя, в совершенном разъединении со всяким умственным движением. Вспомни, что тебе еще придется зарабатывать себе насущный кусок хлеба своими руками...

— На все воля божия, — отвечал я и молчаливо опустил свою голову.

— Отчего это жизнь идет не так, как бы хотелось? — сказал Яблочкин с досадою и горечью.

После долгого взаимного молчания у нас снова зашел разговор о семинарии.

— Я слышал, — сказал я, — что тебе досталось за объяснение лекции. Помнишь?..

— Еще бы не помнить! — Яблочкин вскочил с кровати. — Это не беда, это в порядке вещей, что я был оскорблен и уничтожен моим наставником. Ему все простительно. Его уже поздно переделывать. Но эта улыбка, которую я заметил на лицах моих товарищей в то время, когда у меня брызнули неуместные, проклятые слезы, — эта глупая улыбка довела меня до последней степени стыда и

негодования. Дело не в том, что здесь пострадало мое самолюбие, а в том, что эта молодежь, которая, казалось бы, должна быть восприимчивою и впечатлительною, успела уже теперь, в стенах учебного заведения, сделаться тупою и бесчувственною. Вот что мне больно! Что же выйдет из нее после, в жизни? — «Охота тебе волноваться, — сказал я, — а говоришь, что грудь у тебя болит». — «Как, Вася, не волноваться? Я опять попал было недавно в беду: на днях, в присутствии нескольких человек, я имел неосторожность высказать свое мнение насчет одной известной тебе иезуитской личности, поставившей себе главною задачею в жизни пресмыкаться пред всем, что имеет некоторую силу и некоторый голос, и давить все бесильное и безответное». — «Инспектора?» — прервал я его в испуге. «Ну да! Через два часа слова мои были ему переданы, и он позвал меня к себе. «Ты говорил вот то и то?» — спросил он меня. Представь себе мое положение: ответить *да* — значит обречь себя на гибель; я подумал, подумал и сказал решительно: *нет!* «А если, — продолжал он, — я призову двух сторожей и заставлю тебя сказать правду под розгами?» Я молчал. Сторожа явились. «Признавайся, — говорит он, — прощу...» Заметь, какая невинная хитрость: прости!.. «Не в чем!» — отвечал я, смотря ему прямо в глаза и дав себе слово скорее умереть на месте, чем лечь под розги. «Позовите тех, при ком я говорил». Я чувствовал в себе какую-то неестественную силу. Глаза мои, наверное, метали искры. Инспектор отвернулся и крикнул: «Вытолкните его, мерзавца, вон и отведите в карцер...» И я просидел до вечера в карцере без хлеба, без воды, едва дыша



от нестерпимой вони... ну, ты знаешь наш карцер». Яблочкин снова прилег на свою кровать. Грудь его высоко поднималась. Лицо горело. Я понял, что мне неловко было упрекать его за неосторожные слова. Мало ли мы что болтаем! и кто, спрашивается, от этого терпит? Ровно никто. Жаль, что он так впечатлителен; еще больше жаль, что у него такое слабое здоровье.

14

Вот и решай, кто тут прав и кто виноват, и суди, как знаешь. Яблочкин сказал необдуманное слово и чуть не погиб, а другие доходят до безобразия, и все остается шито и крыто.

Пошел я сегодня после вечерни пошататься по городу; иду по одной улице, вдруг слышу — сту-

93

чат в окно. «Зайди на минуту; дело есть», — раздался голос знакомого мне философа Мельхиседекова, который учится вместе со мною и принадлежит к самым лучшим ученикам по своему поведению и прилежанию. Я зашел. Гляжу — кутеж! Мельхиседеков стоит среди комнаты, молодцевато подпершись руками в бока. Трое его товарищей, без галстуков, в толстых холстинных рубашках и в панковых панталонах, сидят за столом. На столе — полштоф водки, рюмка, груши в тарелке и какая-то старая, в кожаном переплете, книжонка. Четвертый, уже упитанный, спит на лежанке, лицом к печке. Под головою его, вместо подушки, лежат творения Лактапция и латинский лексикон Кронеберга. «Пей!» — сказал мне Мельхиседеков, прежде нежели я успел осмотреться, куда попал. «Что у тебя за радость?» — спросил я. «Деньги от отца получил и кстати именинник. Посмотри в святцы и увидишь: мученика Протасия». — «Я пью». — «Стало быть, ты ханжа, а не товарищ. Ну, ступай — доноси, кому следует, о всем, что здесь видел... Так поступают подлецы, а не добрые товарищи. Знаем мы, у кого ты живешь... Извини, брат, что я тебя позвал. Я думал о тебе лучше...» У меня мелькнула мысль, что отказ мой непременно даст повод заподозрить меня в наущничестве и поведет к глупым рассказам; я послушался и выпил. Мельхиседеков меня поцеловал. «Вот спасибо! Теперь садись в ряд и будем говорить в лад». — «Так-то так, — сказал я, — а если, сохрани боже, заедет сюда субинспектор...» Мельхиседеков засмеялся и свистнул. «Видали мы эти виды!» — «Видали, брат, видали! — подхватили со смехом сидевшие за столом ученики, — пусть

явится. В секунду все будет в порядке: возьмемся за тетрадки, за книги и встретим его особу глубокими поклонами. К этой комедии нам не привыкать».

— Слышишь, Мельхиседек, — сказал рябой ученик, взъерошивая на голове рыжие волосы, — я, брат, еще выпью. Нельзя не выпить. Послушай, что вот напечатано в поэме *Елисей*.

— Ступай ты с нею к черту! Ты двадцать раз принимался ее читать, — отвечал Мельхиседек, — и надоед, как горькая редька.

— Нет, не могу. Сердись как угодно, а я прочту: мы обязаны читать все поучительное... — И он уткнул нос в книгу.

Когда печальный муж чарчонку выщипает,
С чарчонкой всю свою печаль позабывает.
И воип, водочку имеючи с собой,
Хлебнувши чарочку, смелее идет в бой.
Но что я говорю о малостях таких?
Спросите вы о том духовных и мирских,
Спросите у дьяков, спросите у подъячих,
Спросите у слепых, спросите вы у зрячих;
Я думаю, что вам ответствуют одно:
Что лучший в свете дар для смертных есть вино.

— Вот что, брат! слышишь?

— Так, — сказал Мельхиседек, — а если дадут тебе тему: *пьянство пагубно*, я думаю, ты не станешь тогда приводить цитат из поэмы *Елисей*.

— Кто, я-то? homo sum, ergo... напишу так, что иная благочестивая душа прольет слезы умиления. Приступ: взгляд на пороки вообще, на пьянство в частности. Деление: первое, пьянство низводит человека на степень бессловесных животных; второе, пьяница есть мучитель и стыд

своей семьи; третье, вредный член общества, и, наконец, четвертое, пьяница есть самоубийца... Что, брат, ты думаешь, мы сробеем?

— Молодец! а что ты напишешь на тему, которая дана нам теперь: *можно ли что-нибудь представить вне формы пространства и времени, как, например, — ничто или вездесущество?* Ну-ка, скажи!

— Вдруг не напишу, а подумавши — можно. Я, брат, что хочешь, напишу, ей-богу, напишу! вот ты и знай! — И рыжий махнул рукою и плюнул.

Остальные два ученика не обращали ни малейшего внимания на этот разговор и продолжали горячий спор:

— Ты погоди! Ты не тут придаешь силу своему голосу... да! Слушай!

Грянул внезапно
Гром над Москвою...

Вот ты и сосредоточивай всю силу голоса на слове: *грянул*, а у тебя выходит громче слово: *внезапно*, — значит, ты не понимаешь дела. Далее:

Выступил с шумом
Дон из берегов...
Ай, донцы!
Молодцы!

Последние два слова так пой, чтобы окна дребезжали. У тебя все это не так.

— И не нужно. Я больше не буду петь. Все это глупости. Ты, брат, смотри на песню с нравственной точки зрения. Но так как тебе эта точка недоступна, следовательно, ты поешь чепуху и празднословишь.

— Я тебе говорю: пой!

— Не буду я петь!

— Ну, твоя воля! Стало быть, ты глуп...

— Эй, чижик! — крикнул Мельхиседек. Из темного угла вышел бледный, стриженный под гребенку мальчуган и песмело остановился среди комнаты. На плечах его был полосатый засаленный халатишко. Руки носили на себе признаки известной между нами болезни, появляющейся вследствие неопрятности и нечистоплотности. Это был ученик духовного училища. «Вот тебе посуда; вот тебе четвертак; ступай туда... знаешь... и возьми косушку». Мальчуган повернулся и пошел «Стой, стой! — сказал Мельхиседек, — знаешь свой урок?» — «Знаю». — «Посмотрим. Как сыскать общий делитель?» Мальчуган подвинул к потолку свои глазенки и начал одпозвучно читать: «Должно разделить знаменателя данной дроби на числителя; когда не будет остатка, то сей делитель будет общий делитель...» — «Довольно... Ты скажи, чтобы не обмеривали; меня, мол, приказный послал... Этот чижик отдай мне под надзор, вот я его и пробираю», — сказал мне Мельхиседек. Едва за мальчуганом затворилась дверь, в комнату вошла хозяйка дома, дородная, красноречивая жепщица, и закричала, размахивая руками: «Перестаньте, бесстыдники, горло драть! Что вы покою не даете добрым людям!» — «Не сердитесь, почтеннейшая жепщица! — отвечал Мельхиседек. — Вам это вредно при вашем полнокровии...» — «Гуляем, Акулина Ивановна! Гуляем!» — сказал рыжий и положил на стол свои ноги. — Вот изволите ли видеть? Свобода царствует!..» — «Ну, ты-то что еще безобразничаешь? Ах ты,

молокосос, молокосос! Погоди — дай только твоему отцу сюда приехать, уж я тебя распишу!..» Я воспользовался тем, что внимание всех обратилось на хозяйку, и незаметно ускользнул за дверь. Экие кутилы!

Декабря 10

Давно я не брался за перо. И слава богу! Непотерянная потеря... Итак, слова Яблочкина, что у нас найдутся средства познакомиться со всеми произведениями наших лучших писателей, сбылись вполне. В продолжение двух с половиной месяцев я перечитал столько книг, что мне самому кажется теперь непонятным, каким образом достало у меня на этот труд и силы и времени. Я читал в классе украдкой от паставников. Читал в моей комнатке украдкой от Федора Федоровича, который удивлялся, зачем я пожигаю такую пропасть свеч, но свечи, тоже украдкой, я стал покупать на свои деньги, и покамест все обстоит благополучно... Ну, мой милый, бесценный Яблочкин! Как бы ни легли далеко друг от друга наши дороги, куда бы ни забросила нас судьба, я никогда не забуду, что ты первый пробудил мой спавший ум, вывел меня на божий свет, на чистый воздух, познакомил меня с новым, прекрасным, доселе мне чуждым, миром... Какая теплая, какая чудная душа у этого человека! Мало того, что он давал мне все лучшие книги, он делился со мною многими редкими рукописями, которые доставал с величайшим трудом у своих знакомых. И осветились передо мною разные темные закоулки нашего грешного мира, и развенчались и пали некоторые

личности, и загорелись передо мною самоцветными камнями доселе мне неизвестные сокровища нашей народной поэзии. Вот, например, начало одной песни. Не знаю, была ли она напечатана.

Ах ты, степь моя, степь широкая,
Поросла ты, степь, ковылем-травой,
По тебе ли, степь, вихри мечутся,
У тебя ль орлы на песках живут,
А вокруг тебя, степь родимая,
Синей ставкою небеса стоят!
Ах ты, степь моя, степь широкая,
На тебе ~~ли~~, степь, два бугра стоят,
Без крестов стоят, без приметушки,
Лишь небесный гром в бугры стучает!..

Да, вот это песни! Она не походит на ту, которую распевает так часто Федор Федорович:

Черный цвет, мрачный цвет,
Ты мне мил навсегда...

В моих понятиях, в моих взглядах на вещи совершается теперь переворот. Давно ли я смотрел на грязную сцену кутежа моих товарищей спокойными глазами? В эту минуту она кажется мне отвратительною. Воспоминание о робком мальчике, которого посылали за водкою, возмущает мою душу и поселяет во мне отвращение к жизни, среди которой могут возникать подобные явления. И все с большею и большею недоверчивостью осматриваюсь я кругом, все глубже и глубже замыкаюсь в самом себе. С этого времени я понимаю постоянное раздражение Яблочкина против дикого, мелочного педантизма, против всякой сухой схоластики и безжизненной морали, против всего коснеющего и мертвого. Не скажу, чтобы я сде-



лался лепивым оттого, что пристрастился к чтению. Уроки выучиваются мною по-прежнему. Но все это делается ex officio, а уж никак не со сна. Ни одно слово из бесчисленного множества остающихся в моей памяти слов не проникает в мою душу, ни одно слово не веет на меня освежительным дыханием жизни, близкой моему уму или моему сердцу...

Однако, волею-неволею, мне опять пужно положить перо и взяться за урок. А Федор Федорович спит беспробудно... Тяжело мне мое одиночество в чужом доме. Не с кем мне обменяться ни словом, ни взглядом. Молчаливо смотрят на меня невзрачные стены. Тускло горит сальная свеча. На дворе завывает выюга. Белые хлопья снега, пролетая мимо окна, загораются огненными искрами и пропадают в непроницаемом мраке. Тяжело мне под этою чужою кровлею...

14

Вот и экзамены наступили. Наш класс принял на некоторое время как бы праздничный вид. По полу прошла метла, по столам — тряпка. Печь истопили с вечера и дров, разумеется, не пожалели. Впрочем, истопить ее в год два-три раза — расход не велик. Для отца ректора стояло заранее приготовленное покойное кресло. Для профессоров были принесены стулья. Казалось, все придумали хорошо, а вышло дурно: промерзшие стены отошли, и воздух сделался нестерпимо тяжел и неприятен. На это обратили внимание и позвали сторожа с курушкою. Сторож покурил — и воздух пропитался запахом сосновой смолы. Федор Федорович, ве-

роятно, чувствовал себя не совсем ловко в ожидании прихода своего начальника. Он торопливо ходил по классу, потирая руки и время от времени поправляя на себе черный фрак, хотя, правду сказать, поправлять его было нечего: он был застегнут по форме, от первой до последней пуговицы. Сидевший у порога на заднем столе ученик, с лицом вполонину обращенным к двери, с беспокойным выражением в глазах, напрягал чуткий слух, стараясь уловить звуки знакомой ему поступи, чтобы отворить вовремя дверь, что удалось ему сделать как нельзя лучше. «Гм!.. гм!.. У вас тут что-то скверно пахнет...» — сказал отец ректор, опираясь на свою камышовую трость и оборачивая голову налево и направо. «Да-с, есть немножко», — почтительно отвечал Федор Федорович и тоже, верно по сочувствию, оборотил голову валево и направо и пододвинул к столу покойное кресло. Одежда отца ректора была на лисьем меху и на меху просторная обувь. Он отдал одному ученику свою трость, который поставил ее в передний угол, и осторожно опустился в кресло, придерживаясь обеими руками за его выгнутые бока. «Удобно ли вам сидеть? не прикажете ли поправить стол?» — сказал Федор Федорович. «Нет, ничего. Ну что ж, начнем теперь, начнем». В эту минуту пришли еще два профессора и, после обычных поклонов, скромно заняли свои места. Отец ректор развернул список учеников и положил на стол билеты. Начались вызовы. Мне пришлось отвечать третьим, именно: *о памяти*. «Отличусь», — думал я, взглянув на билет, и действительно отличился: прочитал несколько строк так бегло, что отец ректор пришел в изумление.

— Погоди, погоди! Я ничего не разберу. Говори раздельнее. — Я повиновался. — Ну что ж, хорошо, весьма хорошо!.. Повтори о достоинствах памяти.

— Достоинства памяти редко соединяются между собою в одинаковой мере, особенно легкость с крепостию и верностию, но постоянным упражнением памяти они могут быть приобретаемы до известной степени и часто доводимы до необыкновенного совершенства. В древние и новые времена встречались примеры...

— Чей ты сын?

— Священника.

— Ну что ж, учись, учись. Хорошо. Вот и вый-дешь в люди. Ступай!

Я повернулся.

— Погоди! Зачем у тебя волосы так длинные? Щегольство на уме, а? Так, так! Остригись, непременно остригись. Сколько тебе лет?

— Девятнадцать лет.

— Так, щегольство. Ну, смотри, учись.

Он обратился к Федору Федоровичу и спросил его вполголоса: «Каков он у вас?»

— Поведения и прилежания примерного. Способностей превосходных, — последовал ответ вполголоса. Я боялся, что улыбнусь, и прикусил губу. «Хвали, — подумал я, — понимаю, в чем тут дело». Как бы то ни было, сев на свое место, я порадовался, что отделался благополучно.

Ученики выходили по вызову друг за другом. И вот один малый, впрочем неглупый (относительно), замялся и стал в тупик.

— Ну что ж. Вот и дурак. Повтори, что прочитал.

— Хотя творчество фантазии, как свободное преобразование представлений, не стесняется необходимостью строго следовать закону истины, однако ж, показуясь представлениями, взятыми из действительности, оно тем самым примыкает уже к миру действительному. Оно только расширяет действительность до правдоподобия и возможности...

— Что ты разумеешь под словом: показуясь?

— Слово: проявляясь.

— Ну, хорошо. Объясни, как это расширяется действительность до правдоподобия?

Ученик молчал.

— Ну что ж, объясни.

Опять молчание.

— Изот и дурак. Ведь тебе объясняли?

— Объясняли.

— Ну что ж молчишь?

— Забыл.

Федор Федорович двигал бровями, делал ему какие-то непонятные знаки рукой. Ничто не помогало. Не утерпел он — и слова два шепнул.

— Нет, что ж, подсказывать не надо.

— Вы напрасно затрудняетесь, — сказал ученику один из профессоров. — «Юрия Милославского» читали?

— Читал.

— Что ж там — действительность или правдоподобие?

— Действительность.

— Почему вы так думаете?

— Это исторический роман.

— Нет, что ж, дурак! Положительный дурак, — сказал отец ректор и махнул рукою.

История в этом роде повторилась со многими. Едва доходило дело до объяснений и примеров, ученики становились в тупик.

В числе других вышел ученик второго разряда, очень молодой, красивый и застенчивый, за что товарищи прозвали его «прелестною Машенькою». Он робко читал по билету, который ему выпал, и во время чтения не поднимал ресниц.

— Так, так, — говорил отец ректор, — продолжай! — И затем он обратился с улыбкою к профессорам: — Какой он хорошенький, а? не правда ли? Как тебя зовут?

— Александром.

— Ну, вот, вот! И имя у тебя хорошее.

Ученик краснел. Сидевший подле него профессор предложил ему вопрос.

— Нет, нет! — заметил отец ректор, — вы его не сбивайте. Пусть читает. В самом деле, посмотрите, какой он хорошенький!.. — И экзаменатор взглянул на список. — Ты здесь невысоко стоишь, невысоко. Вот я тебя поставлю повыше... Ты будешь заниматься, а?

— Буду.

— Ну и хорошо. Ступай!

К концу экзамена отец ректор, как видно, утомился. Стал смыкать свои глаза и пропускать неловкие ответы мимо ушей. Ученики не преминули этим воспользоваться, однако один попал впросак: заговорив об органах чувств, он приплел сюда и память, и творчество, и прочее, и прочее, лишь бы не молчать. Вот, сколько мне помнится, образчик на выдержку: «Органы чувств суть: глаза, уши, нос, язык, и вся поверхность тела. Заучивание бывает механическое и разумное... однако ж бывают

случаи, фантазия может создать крылатую лошадь, но только тогда, когда мы уже имеем представление о лошади и крыльях и сверх того... и... напрасно строгие эмпирики отвергают в нас действительность ума, как высшей познавательной способности...»

— Так, так, — говорил отец ректор, бессознательно кивая головою. Федор Федорович не перебивал этой галиматьи, что было очень понятно.

— Вы просто городите безобразную чепуху, — заметил сидевший налево профессор.

— А? что, что? Повтори! — и отец ректор широко раскрыл глаза. Ученик стал в тупик. — Ну что ж, дурак! Вот я тебе и поставлю нуль. Пошел!..

Несмотря на эти маленькие неприятности, Федор Федорович остался вообще нами доволен и, садясь со мною обедать, весело потер руки и сказал:

— Ну, слава богу! экзамен наш сошел превосходно... как ты думаешь?

— Хорошо, — отвечал я с улыбкою.

— Промахи, конечно, были, но... пододвинь ко мне горчицу. — Я пододвинул... — Где ж этого не бывает?

И в самом солнце пятна есть.

17

Экзамены продолжают. В общих чертах они похожи один на другой и только отличаются некоторыми оттенками, смотря по тому, кто экзаменуется — отец ректор или инспектор. Последний не дремлет за своим столом, нет!.. Лицо его выража-

ет какое-то злое удовольствие, когда ему удастся сбить кого-нибудь с толку. И боже сохрани, если он не благоволит к наставнику экзаменующихся! Тогда вся его злоба обращается на учеников, которых он мешает с грязью, и в то же время язвит их наставника разными ядовитыми намеками и двусмысленною учтивостью. К счастью, он не экзаменует по главным предметам, но по истории, языкам и т. д.

— Переводи! — говорит он ученику, который стоит перед ним с потупленною головою и с Лактанцием в руках. — Переводи! что ж ты молчишь, как стена?.. — И впивается в него своими серыми сверкающими глазами.

— Душа, буду... будучи обуреваема страстями и... и...

— Далее!

— Страстями... и...

— Что ж далее?



— И не находя опо... опоры. — Ученик чуть не плачет.

— Осел! У тебя и голос-то ослиный! — И он передразнивает ученика: — Обуреваема... Где ты нашел там обуреваема? Лень тебя, осла, обуреваст, вот что! Почему ты целую неделю не ходил в класс?

— Болен был.

— Видишь, какой у него бацище... болен был... — Опять передразнивание. — Отчего ж ты не явился в больницу?

— Я полагал... я думал, что на квартире мне будет покойнее... — У малого навертываются слезы. — Ей-богу, я был болен лихорадкою. Спросите у моих товарищей и, если я солгал, накажите меня, как угодно.

— А! ты покой любишь... хорошо! Вот тебя исключат к вакации, тогда ты насладишься покоем: целый век будешь перезванивать в колокола.

И вслед за этим предлагается вопрос наставнику:

— Он у вас всегда таков, или, может быть, на него периодически находит одурение?

— Что делать! Особенных способностей он не имеет, но трудится усердно и успевает, сколько может. Кажется, он сробел немного...

— Все это прекрасно, то есть вы очень великодушны, но все это ни к чему не ведет. Мне кажется (по крайней мере я так думаю, вы меня, пожалуйста, извините: может быть, я ошибаюсь), мне кажется, было бы сообразнее с делом видеть его в начале не второго разряда, как он у вас стоит, а в конце третьего. Впрочем, вероятно, вы имеете на это свое основание.

Наставник проглотил позолоченную пилюлю и стал извиняться, что он ошибся, и уверять, что на будущее время он постарается быть более осмотрительным.

После класса я заходил за книгою к своему товарищу, который живет в семинарии на казенном содержании. Мне случилось быть в первый раз в номере бурсаков. Это огромная, высокая комната, по наружности похожая на наши классы, с тою разницею, что она, хоть и экономно, но все же ежедневно отапливается. Вокруг обтертых спинами стен стоят деревянные, топорной работы, кровати. Простынь на них нет; подушки засалены; старые, сплюснутые матрацы прикрыты изношенными, разодранными одеялами. На полу пыль и сор. И какой пол! Доски стерты каблуками, и только крепкие суки упорно противятся сапогам и времени и поднимаются со всех сторон бугорками. Между досок щели. В углу — отверстие: смелые голые крысы не побоялись прогрызть казенное добро!.. Окна запушены снегом, и так плотно, что самому зоркому глазу невозможно видеть, что делается на улице и даже есть ли здесь улица. Сквозь разбитые и кое-как смазанные стекла порядочно подувает холодом, но я не слышал, чтобы кто-нибудь жаловался: кажется, здесь ко всему привыкли. Покамест мой товарищ доканчивал выписку из моей книги, я присел на его кровать. Ничего! матрац не жестче доски, стало быть, на нем еще можно спать. Ученики сновали взад и вперед по комнате. Один полураздетый, в толстом и грязном белье, лежал на своей кровати с глазами, устремленными на тетрадку, и с видимым удовольствием доедал кусок черного хлеба. Другому захо-

телось покурить. Курить не велят, поневоле поднимешься на хитрости. Он подставил к печке скамью, открыл вверху заслонку и, стоя на скамье, пускал дым в трубу. Вдруг я почувствовал что-то неприятное у себя на шее, хватъ — клоп! Этакая мерзость! Воображаю, как было бы покойно провести здесь ночь...

— Ты dokonчил выписку? — спросил я своего товарища.

— Докончил.

— Каково вы тут поживаете?

— Ничего. Семья, брат, большая: двадцать человек в одной комнате.

— А как у вас распределено время?

— Утром бывает общая молитва, и мы все поем. Потом один становится к налою и несколько молитв прочитывает. После класса допускается немного отдохнуть. Уроки учим в зале. Вечером опять общая молитва. Кто хочет, и после ужина может заниматься, прочие ложатся спать. Ты никогда не был у нас в столовой?

— Никогда. Я думаю, там почище, чем здесь?

— Чистота одинакова. А воздух там хуже: из кухни, верно, чем пахнет. Просто — вонь!

— Как же вы там садитесь за столы?

— Известно как, по классам: словесники особо, мы особо, богословы тоже. Богословы едят из каменных тарелок, мы и словесники из оловянных; ложки деревянные, да такие, брат, прочные, что в каждой будет полфунта весу. Сторожа разносят щи и кашу. Вот тебе и все.

— Кушанье, стало быть, всем достается поровну?

— Ну, нет. У богословов бывает побольше го-

вядины, у нас поменьше, у словесников чуть-чуть. Первые едят кашу с коровьим маслом; у нас она только пахнет коровьим маслом; у словесников ничем не пахнет. Каша, да и только.

— А в постные дни что же подают?

— Кислую капусту с квасом. Щи из кислой капусты. К каше выдается конопляное масло в том же роде, как и коровье.

— А блины па сырной бывают?

— Иногда бывают. Крупны уж очень пекут: одним блином сыт будешь.

— И с коровьим маслом?

— С конопляным. Иногда с коровьим — для запаху.

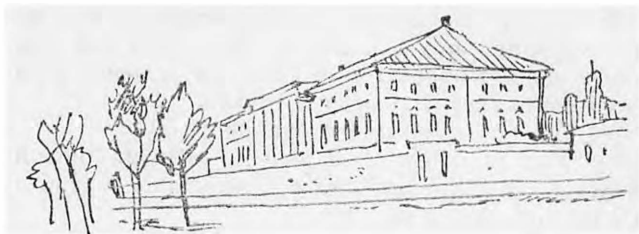
— Это, верно, не то, что дома...

— Ничего. Был бы хлеб, жив будешь. У меня и дома-то едят не очень сладко. Отец у меня пономарь; доходы известные: копейка да грош, да и тот не сплошь.

После этого разговора я шел в раздумье вплоть до моей квартиры, и комната моя, после номера, в котором я был, показалась мне и уютною и чистою.

21

У нас производится теперь раздача билетов, без которых ученики не имеют права разъезжаться по домам. Мне всегда бывает приятно толкаться в это время в коридоре, в толпе товарищей, всматриваться в выражение их лиц и угадывать по нем невидимую работу мысли. Получившие билеты весело сбегают по широкой грязной лестнице от инспектора, который их выдает. Вот один оста-



навливается на бегу и с беспокойством ощупывает свой боковой карман: тут ли его дорогая бумага? не обложился ли он как-нибудь второнях? И вдруг оборачивается назад и вновь бежит наверх; верпо, еще что-нибудь забыто. Другой спускается с лестницы с потупленною головою и нахмуренными бровями. «Ну, что?» — спрашивает его товарищ. «После велел прийти. Говорит, некогда...» — «А за тобою прислали из дома?» — «То-то и есть, что прислали. Работнику дано на дорогу всего тридцать копеек, вот лошадь и будет стоять без сена, если тут задержат». Подле меня разговаривают два ученика: «Что ж ты, приятель, не едешь домой?» — «Зачем? Пьянства я там не видал? Мне и здесь хорошо». — «Панея хорошее! Что ж ты будешь делать?» — «Спать, — кроме ничего. У меня, брат, на квартире...» — Он пошептал своему приятелю что-то на ухо. «В самом деле?» — «Честное слово». — «И хорошенькая?» — «Ничего, не дурна». — «Вот он!» — сказал Мельхиседек, показывая свой билет. «Час добрый, — отвечал я, — а что, инспектор не сердит?» — «Ни то ни се: говорит, как водится, напутственные слова. Ты, дескать, лентяй и часто не ходил в классы; тебя нужно бы не домой отпустить, а посадить для

праздника на хлеб и на воду. Ты на прошлой неделе смеялся в классе. Помни это! я до тебя люберусь. А меня называл умным малым. «Ты, говорит, ведешь себя скромно. Это я люблю. Смотри, не заразись дурными примерами». Я выслушал его с видом глубочайшего почтения, отдал низкий поклон, да и вон».

И поедут они теперь в разные стороны, в разные деревушки и села. Как-то невольно представляются мне знакомые картины. Широко, широко раскинулось снежное безлюдное поле. По краям серое, туманное небо. В стороне чернеется обпаленный лес. На косогорах качаются от ветра сухие былинки. Над оврагами урчливыми откосами навис сугроб. По лугам неправильными рядами поднимаются спешные волны. Вокруг печальная, безжизненная тишина. Слышен только скрип полозьев и туго натянутой дуги. Среди этой пустыни едет иной горемыка в легком и топком тулуншике. Мороз пробирает его до костей. На бровях и ресницах нарастает иней. Жгучий ветер колет иглами открытое лицо. Сани медленно ныряют из ухаба в ухаб. Тощая кляча с трудом вытаскивает из глубокого снега свои косматые ноги. И вот наступает холодная, холодная почва. Синее небо усеяно звездами. По снегу, при ярком свете месяца, перебегают голубые и зеленые огоньки, и видны свежие следы недавно пробежавшего зайца. Бесконечная даль пропадает в тумане, и сквозь этот туман тускло мерцает одинокая красная точка: верно, еще не спят в какой-нибудь дымной и сырой избенке. «Прр!» — говорит кучер и с бранью оставляет свое место. «Что там такое?» — спрашивает седок, «Супонь лопнула». — «Ах, господи! что это

за наказание!..» — Бедняга выскакивает из саней и бежит около них, похлопывая окостеневшими руками, покамест исправляется старая, истасканная упряжь.

Я остаюсь здесь потому, что ехать слишком далеко. Книг у меня будет довольно, а с ними я не соскучусь. И как бы стал я коротать в деревне праздничные дни? Батюшка, по обыкновению, с утра до ночи ходит со двора на двор с крестом и святою водою и возвращается усталый с собранными курами и черным печеным хлебом. Со стороны матушки немедленно следуют вопросы: кто как его принял и что ему дал. Куры взвешиваются на руках, и при этом, разумеется, не обходится без некоторых замечаний. «Вот, мол, смотри: что это за курица? Воробей воробьем!.. Матрена, говоришь, дала?» — «Она, она», — отвечает батюшка, насупивая брови. «Экая выжига! экая выжига!» Христовского хлеба у пас собирается довольно. Часть его обращается на сухари для собственного употребления, часть идет на корм домашней скотине.

Когда-то и я вместе с батюшкою ходил по избам мужичков в качестве христовска и бойко читал наизусть какие-то допотопные вирши, бог весть когда и кем паписанные, со всевозможными грамматическими ошибками, и переходящие из рода в род без малейшего изменения. «Вишь, как тачает! — бывало, скажет иной мужичок, — сейчас видно, что попович. Нечего делать, надо и ему дать копеечку...»

Впрочем, к чему я об этом говорю? Воспоминания, извольте ли видеть, воспоминания... Это, что называется, чем богат, тем и рад.

Человек предполагает, а бог располагает: я надеялся провести все праздничное время за книгами, а вышло не так. Григорий заболел накануне рождества простудой и слег в постель, которую пришлось ему занять в сырой, угарчивой кухне, на жесткой сосновой лавке. На больного никто не обращал особого внимания. Кухарка тотчас после



обеда наряжалась в пестрое ситцевое платье, завивала на висках косички, уходила в гости к какому-нибудь свату или куму и возвращалась уже вечером румяною, веселою и разговорчивою. «Вставай! — говорила она мальчугану, который с трудом переводил свое горячее дыхание, — что ты все лежишь, как колода? Не хочешь ли шей?» Больной отрицательно качал головой и оборачивался к стене. «Ну, наплевать! была бы честь приложена, от убытку бог избавил...» И баба запевала вполго-

лоса не совсем пристойную песню. Федор Федорович раза два посылал меня к нему с чашкою спитого, жиденького чая. «Пусть, говорит, выпьет. Это здорово. Скажи, что я приказываю». Но малый не слушался и со слезами на глазах просил у меня холодного квасу. Ключ от погреба постоянно хранился в кабинете Федора Федоровича; я спешил к нему с докладом: вот, мол, так и так. «Нет, — отвечал мне мой наставник, — скажи ему, что он глуп. Больному квас пить нездорово». И этим оканчивалось все попечение о бедном мальчугане. Таким образом, волею-неволею мне пришлось заменить его должность, то есть состоять на посылках и исполнять разные приказания и прихоти моего наставника. Только что я возьмусь за книгу, «Василий! — раздается знакомый мне голос, — сходи-ка на рынок и купи мне орехов, да смотри, выбирай, какие посвежее». Орехи принесены; молоток, чтобы разбивать их, подан; я опять берусь за книгу и читаю при громком стуке молотка. «Василий! поди-ка собери скорлупу и вынеси ее на двор». Скорлупа вынесена, — я снова принимаюсь за книгу. «Василий! поди-ка вычисти мне сапоги». И вот я развожу на старом чайном блюдечке ваксу и чищу сапоги, а наставник мой покоится на диване, заложив под голову свои руки, курит папиросу и смотрит на потолок.

Теперь я окончательно убежден, что он строго следит за ходом моего развития. Сегодня за обедом у меня с ним был следующий разговор.

— Чем ты занимаешься? — спросил он меня, накладывая себе на тарелку новую порцию жареного поросенка.

— Читаю Фонвизина.

— Читал бы ты что-нибудь серьезное, если уж есть охота к чтению, вот и была бы польза. Эти Фонвизины с братиею отнимают у тебя только время. Что это за сочинение? Вымысел, и больше ничего. Кажется, я говорил тебе, какие книги ты должен взять из нашей библиотеки.

«Да,— подумал я,— просьбою о выдаче мне этих книг я надоел библиотекарю так же, как надоедает иной заимодавец своему должнику об уплате ему денег. Кончилось тем, что победа осталась на моей стороне. Библиотекарь, выведенный из терпения, плюнул и крикнул с досадою: «Возьми их, возьми! Отвяжись, пожалуйста!..»

— Я читал опыт философии Надеждина. Сухо немножко, — сказал я, стараясь, по возможности, смягчить вертевшийся у меня в голове ответ: темна вода во облацех.

— Смыслишь мало, оттого и выходит для тебя сухо. А ты делай так: если прочитал страницу и ничего не понял, опять ее прочитай, опять и опять... вот и останется что-нибудь в памяти и не будет *сухо*.— На последнем слове он сделал ударение. Очевидно, ответ мой ему не понравился.

— Чтение журналов, — продолжал он, — тоже напрасная трата времени. Ты видишь, я сам их не читаю, а разве проигрываю от этого? Тебе, например, дается тема: *знание и ведение суть ли тождественны*, или: *в чем состоит простота души*; ну, что же ты почерпнешь из журналов для своих рассуждений на обе эти темы? Ровно ничего. Нет, ты читай что-нибудь дельное, а не занимайся пустяками.

После этого разговора передо мною яснее об-

рисовалась личность моего почтенного наставника. Я мысленно поблагодарил себя за то, что прятал от него почти всякую книгу, и решился, для устраниения между нами каких бы то ни было недоразумений, никогда не заводить с ним разговора о том, на что он имеет свой особенный взгляд. Этот взгляд и эта должность прислуги, которую я здесь несу, до того мне надоели, что я писал к своему батюшке, чтобы он под каким-нибудь благовидным предлогом переменял мою квартиру, говоря, что я настолько вырос и настолько понимаю все белое и черное, что могу обойтись без посторонней нравственной опеки.

Января 6

Здоровье Григория поправилось. Он вынес тяжелую горячку и встал, несмотря на все, так сказать, благоприятные условия к переселению в лучший мир, как то: скверное помещение, дурную пищу и отсутствие необходимых лекарств... «Отвалялся!» — говорит о нем наша кухарка, и это слово я нахожу очень уместным и верным. Однако ж он еще так слаб, что не может исполнять своей обязанности, и я до сих пор занимаю его место. Бог с ним, пусть поправляется! Мне приятно думать, что мои хлопоты доставляют ему покой.

Передняя и гостиная моего наставника снова оживлены присутствием известных личностей... Не знаю, как их точнее назвать... просителями, посетителями или гостями, — право, не знаю. Иной вовсе ни о чем не просит: скажет только, что сын его прозывается Максим Часовников, а он, отец

его, принес вот пару гусей, и это короткое объяснение закончит глубочайшим поклоном: «Извините, что, по своей скудости, не могу вас ничем более возблагодарить». Ему ответят: «Спасибо». Место удалившейся личности заступает другая, которая подобострастно склоняет свою лысую голову и робко и почтительно протягивает мозолистую руку, из которой выглядывает па божий свет тщательно сложенная бумажка. «Осмеливаюсь вас беспокоить, благоволите принять...» — «Напрасно трудились. Впрочем, я не забуду вашего внимания», — равнодушно говорит Федор Федорович и в свою очередь протягивает руку. Он делает это так естественно, как будто о бумажке тут нет и помину, а просто пожимается рука доброму знакомому при словах: «мое почтение! как ваше здоровье?» Мое присутствие нисколько не стесняет моего наставника; и как же иначе? Все это дело обыкновенное, не притязательное: хочешь — давай, не хочешь — не давай, по шее тебя никто не бьет. Притом мнение ученика (если, сверх всякого чаяния, он осмелился иметь какое-либо мнение) слишком ничтожно. Иногда меня забавляет нелепая мысль: что, думаю я, если бы в одну прекрасную минуту я предложил моему наставнику такой вопрос: в какую силу принимаются им все эти приношения, и указал бы ему на разное *яствие* и *питие*? Мне кажется, весь, с ног до головы, он превратился бы в живой истукан, изображающий изумление, и — увы! — потом разразились бы надо мною молнии и громы...

С наступлением сумерек передняя опустела. Я вошел в свою комнату и взялся за книгу.

— Василий! — крикнул Федор Федорович.

— Что вам угодно?

— Прибери эти бутылки под стол... знаешь, там — в моем кабинете, а гусей отнеси в чулан, запри его и ключ подай мне.

Я все исполнил в точности и снова взялся за свое дело, а мой наставник, в ожидании ужина, занялся игрою с своим серым котенком. За ужином, между прочим, он спросил меня:

— Что ты теперь читал?

Этот часто повторяемый вопрос, ей-богу, мне надоел.

— «Слова и речи на разные торжественные случаи», — отвечал я, удерживая улыбку, потому что бессовестно лгал: я читал, по указанию Яблочкина, перевод «Венецианского купца» Шекспира, напечатанный в «Отечественных записках», а «Слова и речи» лежали и лежат у меня на столе, служа своего рода громоотводом.

— Это хорошо. Однако ты любишь чтение!

— Да, люблю.

Он обратился к кухарке: «Завтра к обеду приготовь к жаркому гуся. Сало, которое из него вытопится, слей в горшочек и принеси сюда. Мы будем есть его с кашею».

Авось хоть теперь Федор Федорович успокоится, думал я, ложась на свою кровать и продолжая чтение «Венецианского купца». Но за стеною еще слышались мне протяжная зевота и полусонные слова: «Господи, помилуй! что это на меня напало?..» И вот я пробегаю эти потрясающие душу строки, когда жид Шейлок требует во имя правосудия, чтобы вырезали из груди Антонио фунт мяса. По телу пробегают у меня дрожь, на голове поднимаются волосы...

— Василий! Василий! Или ты не слышишь? —

раздается за стеною громкий голос моего наставника.

— Слышу! — отвечал я с тайною досадою, — что вам угодно?

— Ты куда положил гусей?

— В чулан.

— Да в чулане-то куда?

— На лавку!

— Ну, вот, я угадал. Это выходит на съедение крысам. Возьми ключ и все, что там есть, гусей и поросят, развешай по стенам. Там увидишь гвозди. С огнем, смотри, поосторожнее.

И положил я Шекспира и пошел развешивать гусей и поросят. Не правда ли, хорош переход?..

9

Наша семинария опять закипела жизнью, или, по резкому выражению Яблочкина, шестисотговая, одаренная памятью, машина снова пущена в ход. Все это прекрасно, нехорошо только то, что стены классов, стоявших несколько времени пустыми, промерзли и покрылись инеем, а теперь, согретые горячим дыханием молодого люда, заплакали холодными слезами. Пусть плачут! От этого не будет легче ни им, ни тем учащимся толпам, которые приходят сюда в известный срок и в известный срок, в последний раз, уходят и рассыпаются по разным городам и селам.

И вот я сел и обращаю вокруг задумчивые взгляды.

Опять все скамьи заняты плотно сдвинутыми массами народа. На столах разложены тетрадки и книги; едва отворится дверь, — из класса бе-

лым столбом вылетает влажный пар и медленно редет под сводами коридора. Холодно, черт побери! Бедные ноги так зябнут, что сердце щемит от боли, и после двухчасового неподвижного сидения, когда выходишь из-за стола, они движутся под тобою как будто какие-нибудь деревяшки.



Я помню, что в училище мы до некоторой степени облегчали свое горькое положение в этом случае таким образом: когда продрогшие ученики теряли уже последнее терпение и замечали, что, наконец, и сам учитель, одетый в теплую енотовую шубу, потирает свои посиневшие руки и пожимает плечами, — из отдаленного угла раздавался несмелый возглас: «Позвольте погреться!..» «Позвольте погреться!» — вторили ему в другом углу, и вдруг все сливалось в один громкий, умоляющий голос: «Позвольте погреться!..» И учитель удалялся, иногда в коридор, а чаще в комнату своего товарища, который занимал казенное

помещение в нижнем этаже. Вслед за ним сыпались дружные звуки оглушительной дробы. Это-то и было согревание: ученики, сидя на скамьях, стучали во всю мочь своими окостенелыми ногами об деревянный, покоровившийся от старости пол. Между тем какой-нибудь шалун, просунув в полуотворенную дверь свою голову, зорко осматривал коридор.

«Где учитель? В коридоре?» — спрашивали его позади. «Нет. Ушел вниз». — «Валяй, братцы! Валяй!»... И ученики прыгали через столы на середину класса.

— Ну, ты! мокроглазый! Становись на поединок... — восклицает одна голоостриженная бойкая голова и размахивает кулаками перед носом своего товарища.

— Становись! — говорит мокроглазый, притопывая ногой, — становись!

Раз-два! раз-два! и пошла кулачная работа.

К ним присоединяется новая пара горячих бойцов, еще и еще, — и вот валит уже стена на стену. Неучаствующие в бою и те, которые успели получить под свои бока достаточное число пирогов, стоят на столах и телодвижениями и криком одушевляют подвигающихся среди класса рыцарей. Избранный часовой стоит у дверей и сторожит приход учителя. «Тсс... тсс...» — говорит он, и ученики бегут на свои места.

Учителя встречает в дверях облако густой пыли.

— А! — восклицает он, — опять бились на кулачки! — и внимательно смотрит по сторонам и замечает у одного подбитый глаз.

— Как ты смел биться на кулачки? А?

— Я не бился, ей богу, не бился! — отвечает плаксивый голос.

— Врешь, бестия! Пошел к порогу.

И виновный без дальнейших объяснений отправляется, куда ему приказано, распоясывается, расстегивает свой нанковый сюртучишко и так далее и ложится на холодный пол. Сидевший у порога ученик, так называемый *секутор*, с гибкою лозою в руке, усердно принимается за свою привычную работу.

— Простите! простите! — разносится на весь класс жалобный крик.

— Прибавь ему, прибавь!

И *секутор* прибавляет.

Операция кончилась, и наказанный, как ни в чем не бывало, встает, утирает слезы, подпоясывается, отдаст по заведенному порядку своему наставнику низкий поклон — благодарность за поучение — и отправляется на место, замечая мимоходом одному из своих товарищей: «Я говорил тебе, такой сякой, не бей по лицу: синяк будет... вот и выдрали».

Та же самая потеха повторяется и на следующие дни с предварительным условием: «Смотрите, братцы, по лицу чур не бить!» У нас этого, благодарение богу, нет.

Но возвращаюсь к делу.

Что это за милый человек наш Яков Иванович, профессор, читающий нам русскую историю!

Он смотрит на исполнение своей обязанности как на что-то священное и в этом отношении заслуживает безукоризненную похвалу. В класс он приходит своевременно, спустя две-три минуты после звонка, при чтении молитвы молится усерд-

но и, плотно запахнув свою поношенную шубу, скромно садится за стол. И вот развязывает свой клетчатый платок, и мы видим его неизменного спутника, можно сказать, его верного друга — старую, почтенной толщины книгу, в прочном кожаном переплете, с красным обрезом. Яков Иванович вынимает из кармана очки, дышит на них, протирает платком и осторожно надевает на свой нос. Все это делается не спеша, не как-нибудь: сейчас видишь, что человек приступает к исполнению трудной обязанности, к решению великой задачи. «Гм!.. гм!..» — откашливается муж, поседевший в науке, и разворачивает книгу именно там, где нужно. Ошибиться ему нельзя, потому что недочитанная страница каждый раз закладывается продолговатой, нарочно для этого вырезанной бумажкою, место же, где ударом звонка было закончено чтение, отмечается слегка карандашом, который вытирается потом резиною. Как видите, все рассчитано благоразумно и строго. И начинается тихое, мерное чтение. Читает оп полчасу, читает час, порою снова протирает очки, — вероятно, глаза несчастного подергиваются туманом, — и опять без умолку читает. И нет ему никакого дела до окружающей его жизни, точно так же, как никому из окружающих его нет до него ни малейшей нужды. Ученики занимаются тем, что им нравится или что они считают для себя более полезным. Некоторые ведут рассказы о своих взаимных похождениях и проказах, некоторые переписывают лекции по главному предмету, а некоторые сидят за романами. Тут вы увидите разные романы, например: «Шапка юрודивого», «Таинственный монах», «Фра-диаволо»,

«Япанча — татарский наездник» и т. д. под., но чаще всего увидите Поль-де-Кока и Дюма. Они пользуются у нас особенною известностью. Если чей-нибудь неосторожный возглас или смех прервет мерное чтение почтенного наставника, он поднимает свои вооруженные глаза на окружающую его молодежь и громко скажет: «Пожалуйста, не мешайте мне читать!..» И продолжает: «Ах! странно и дивно есть, ежели или брат на брата, сынове против отцов, рабы на господ, друг друга ищут умертвить и погубить, забыв закон божий и преступя заповеди его, единого ради властолюбия, ища брат брата достоинства лишить, не ведуще, яко премудрый глаголет: ищай чужаго о своем възрыдает! Исшедше же Юрій с Ярославом и мепьшими братиями, стал на реке Гзе» (Рос. истор. Татищева, изд. 1774 г., кн. III, стран. 389).

Если шум не унимается, наставник покраснеет и громче прежнего повторит: «Не шумите! пожалуйста, не шумите! Не то, честное слово, я пущу кому-нибудь в голову своею книгою»... Эта угроза, конечно, никого не пугает, тем более что она никогда не приводится в исполнение. Но Яков Иванович все-таки достигает своей цели, то есть в классе наступает непродолжительная тишина. Его боятся потому, что своим смирением и безответностью он успел себе снискать расположение нашего инспектора.

20

Бедный Иван Ермолаич! Он совсем спился с кругу. Грустно было смотреть, в каком виде пришел он сегодня вечером к Федору Федорови-

чу. Шинель истаскана, просто — дрянь! Подклад-ка порвалась, из-под изношенного коленкора выглядывают клочки грязной ваты. Сапоги на нем — без калош. Этого мало: один сапог лопнул, и оказывается, что он в трескучие морозы носит нитяные чулки. Как он терпит эту нужду, — ей-богу, не понимаю!

Федор Федорович принял его чрезвычайно холодно или, лучше сказать, грубо; не только не подал ему руки, даже не пригласил его сесть, и ходил из угла в угол, поигрывая махрами своего пояса и напевая себе под нос какую-то песню, как будто в комнате, кроме него, не было ни одной живой души.

— Знаете ли что, Федор Федорович, — сказал незванный гость, потирая свои синие, озябшие руки, — дайте мне, пожалуйста, рюмку водки. Я, мочи нет, озяб!

— У меня ни капли нет водки. Я почти никогда ее не имею. — Иван Ермолаич подошел к печке, прикладывал свои руки к теплым кафлям и, обернувшись, прислонился к ней спиною.

— Что же у вас есть? Дайте хоть одну рюмку. Авось убытку будет немного.

— Рому, пожалуй, я дам: есть немножко. Ведь вы уж где-то выпили... довольно бы, кажется.

— Да ну, — ради бога, без наставлений! Давать — так давай, нет — бог с тобою!

Федор Федорович пошел в свой кабинет и вынес оттуда рюмку рома. Иван Ермолаич ее выпил и сел, облокотившись на стол. Несколько времени прошло в молчании.

— Глупая история, — сказал Иван Ермолаич, — глупейшая история!

— Что такое? — спросил Федор Федорович.

— А вот что: па днях я имел удовольствие беседовать с отцом ректором — и остался в дураках.

— Я думал, случилось что-нибудь особенное, — отвечал Федор Федорович, закуривая па-



пиросу и растягиваясь во весь свой рост на мягком диване.

— Теперь я все спрашиваю себя: за каким чертом я к нему ходил?

— Совершенно справедливо. Он уже не раз намыливал вам голову; пора бы оставить его в покое.

— Но, помилуйте! что ж это такое? Чем я виноват? — вскричал Иван Ермолаич, поднимаясь со стула и вдруг одушевляясь. — Вот слушайте: ученики собрали тридцать рублей серебром и про-

сили меня, чтобы я составил им по своему выбору библиотечку, которою они могли бы постоянно пользоваться и, от времени до времени, ее увеличивать. Мысль прекрасная, не правда ли? Я пошел к отцу ректору и объяснил ему, в чем дело. «Вы,— сказал он,— спросились бы прежде у того, кто постарше вас, тогда и собирали бы деньги». — «Деньги,— отвечал я,— мне принесли собранными». — «Так, так. Ну, что ж вы хотите купить?» — «Конечно, — говорю я, — что-нибудь для легкого чтения, например сочинения Пушкина, романы Вальтер-Скотта, Купера...» — «Ну, вот-вот! Пушкина... стишки, больше ничего, стишки. Опять вот Купера... Кто это такой Купер? О чем он писал? Нет, пет! романы нам не годятся». — «Да ведь у нас читают Поль-де-Кока и тому подобное. Ведь это помой! Не лучше ли дать ученикам что-нибудь порядочное». — «Нет, что ж... Нам это не годится. Вы уж, пожалуйста, не ходите ко мне вперед с такими пустяками. А деньги отдайте назад, непременно отдайте». — «Помилуйте! — возразил я, — устройство библиотеки...» — «Занимайтесь своим делом, вот что! Мне некогда пересыпать с вами из пустого в порожнее. До свидания!..» Скажите по совести, что ж это такое? — заключил Иван Ермолаич.

— Не мое дело,— отвечал Федор Федорович. — Всяк Еремей про себя разумеи.

— И только?

— Больше ничего.

Гость постоял с минуту в раздумье и сказал, как-то принужденно улыбаясь:

— Честь имею кланяться, Федор Федорович!..

— Будьте здоровы... — Иван Ермолаич ушел.

— Гришка! — крикнул Федор Федорович.
— Ась,— отвечал мальчуган из передней.
— Ты видел вот этого барина, что сейчас отсюда вышел?
— Видел.
— Если когда-нибудь он опять придет, скажи ему, что меня нет дома. Слышишь?
— Слышу.
О мой мудрый наставник! Если б ты знал, как ты упал теперь в моих глазах...

25

Я сейчас получил от батюшки письмо. Вот что, между прочим, он пишет: «Ты поменьше предавайся мечтательности. О перемене своей квартиры, до твоего перевода в богословие, думать не смей; ибо наставник твой примет сию перемену за обиду, и тебе придется тогда плохо. Ты нишешь, что он скупится давать тебе свечи; посылаю тебе денег, купи на них свеч, но попустому их не трать; пустяков не читай и веди себя так, чтобы я был тобою доволен и чтобы худого о тебе ни от кого не слышал. На счет того, что ты ему прислуживаешь, я тебе скажу, что это еще не беда, ибо старшим себя повиноваться ты обязан...»

Итак, терпение и терпение. Об этом говорят мне не только все окружающие меня люди, но книги и тетрадки, которые я учу наизусть, и, кажется, самые стены, в которых я живу. Будем терпеть, если нет другого исхода.

Далее батюшка пишет, что дьячок наш, Кондратьич, выехавший куда-то со двора, под хмельком, во время метели,— пропал и два дня не

было о нем ни слуху ни духу. Лошадь его возвратилась домой с пустыми саними. На третий день Кондратыча наняли в поле, в логу. Он замерз и лежал на боку, подогнув под себя ногу. Спину его занесло снегом. Из-за пазухи его тулупа вынута стклянка с вином и недоеденный блин. «Мир его праху! — говорит батюшка и прибавляет: — впрочем, худая трава из поля вон...»

Мир его праху! и я скажу в свою очередь. Как знать? Может быть, и он был бы порядочным человеком, если бы его окружала другая обстановка, другие лица. Умел же он сработать отличную телегу, выстругать раму, связать красивую, узорчатую клетку, никогда не учившись этому ремеслу...

Февраля 1

И когда этот Яблочкин отдохнет хоть на минутку от своего беспрестанного, горячего труда? Он изучает теперь немецкий язык и начал уже переводить Шиллера.

— Что ты, брат, делаешь, — говорю я ему, — пожалей хоть немного свое здоровье...

— Ничего, — отвечал он, медленно поднимаясь со стула. Лицо его было бледно и грустно. — А грудь, душа моя, у меня все болит да болит. Боль какая-то глухая. Не понимаю, что это значит. — И он прилег на свою кровать.

— Давно ли ты стал заниматься немецким языком? — спросил я его, перелистывая от нечего делать книгу Шиллера, в которой не понимал ни одного слова.

— Месяца три. Выучил склонения и глаголы и прямо взялся за перевод. Трудно, Вася. По правде сказать, мы не избалованы судьбою. Потом и кровью приходится расплачиваться нам не только за каждый шаг, но и за каждый вершок вперед.

— А как идут твои занятия по семинарии?

— Можно бы сказать — не дурно, если бы к ним не примешивались истории о тросточках и тому подобное. Как ты думаешь? Уж не писать ли мне по этому поводу, конечно, в виде подражания нашим темам, рассуждение на тему своего собственного изобретения: «Зависит ли любовь к занятиям от рода и обстановки самих занятий, или может быть возбуждается историями разных тросточек и тому подобное?..»

— Какая тросточка? — спросил я с удивлением, — что это за история?

— История очень простая. Один из моих добрых знакомых заходил ко мне за своею книгою, заговорился и забыл у меня свою тросточку. Что ему за охота ходить зимою с тростью, это уж его дело. На другой день я пошел к нему за новою книгою и кстати захватил с собою забытую им у меня вещь. Как видишь, все случилось весьма естественно. Только иду я по улице, вдруг навстречу мне попадается субинспектор, в своем неизменном засаленном картузе и в стареньких санях. «Стой!» — сказал он, толкнув в спину своего кучера, и подошел ко мне величественным шагом. «Что это у вас в руках?» — спросил он меня, указывая перстом на несчастную тросточку. Я улыбнулся и пожал плечами. «Это камышовая трость», — отвечал я. «Чему ты смеешься? — ска-

зал он, нахмуривая брови и переменяя множественное число личного местоимения на единственное.— Чему? Разве ты не знаешь, что ты не смеешь с нею ходить? что это запрещено, а?» Делать нечего: я рассказал ему, почему эта трость очутилась в моей руке. «Отчего ж ты не завернул ее в бумагу, чтобы отнести ее просто под мыпкою? Ясно, что ты врешь». Я извинился, что не догадался это сделать, он несколько успокоился, и мы расстались. Что ты на это скажешь? — спросил меня Яблочкин в заключение своего рассказа.

— Что ж тут такое? — отвечал я, — случай весьма обыкновенный...

— Нет, ты представь себе подробности этой сцены! — сказал Яблочкин, вскочив с своей кровати, и на щеках его загорелись два красные пятна.— Ведь это происходило на тротуаре, по которому шел народ. Во все продолжение нашего разговора я должен был стоять с открытою головой и говорить почти шепотом, чтобы не привлечь на себя внимание зевак. Неужели все это ничего не значит?

— Довольно, довольно! — сказал я с улыбкою, — перестань горячиться, — и незаметно склонил разговор на его будущую университетскую жизнь. Лицо Яблочкина просияло. Он стал говорить мне, с какою любовью он возьмется тогда за новый труд; как весело и быстро будет пролетать его рабочее время; как усердно займется он уроками, которые обеспечат его существование и которых, наверное, найдется у него много; с каким удовольствием, после этих уроков, сядет он в своей маленькой квартире за кипящий самовар, с



стаканом чая в одной руке, с книгою — в другой. — А когда, — продолжал он, — окончу курс и поступлю на службу (куда и чем, — я сам еще не знаю, но все равно), когда у меня будут хоть какие-нибудь средства для жизни, первое, что я сделаю, — составлю себе прекрасную избранную библиотеку. У меня будут свои собственные Пушкин и Гоголь, у меня будут Гете и Шиллер в подлиннике, лучшие французские поэты и прозаики. Если останутся свободные минуты от службы, выучусь по-английски, у меня будут в подлиннике Байрон и Шекспир... А главное, душа моя, даю тебе мое честное слово, куда бы я ни попал, где бы я ни служил, никогда не буду мерзавцем. Останусь без хлеба, умру нищим, но сдержу это честное слово. Вася! — заключил он, крепко стиснув меня в своих объятиях, — ведь это будет рай, а не жизнь!

попимаешь ли?..— Он говорил, глаза его сияли, на ресницах навертывались слезы. Я подумал о своем будущем,—вспомнил слова Яблочкина: «Нужно иметь железную волю, чтобы одиноко устоять на той высоте» и прочее... и стало мне грустно, грустно! И вот давно уже ночь, а я все еще не могу сомкнуть своих глаз и не могу взяться за какое-нибудь дело.

2

Пословица говорит: утро вечера мудренее. Так или нет, но в минувшую ночь я многое перечувствовал и многое передумал. Отчего же и мне не ехать в университет? Неужели отец мой не уважит моей справедливой, моей горячей мольбы?.. Ну, мой милый Яблочкин, пример твой на меня подействовал. Кошечено! будь, что будет! Благослови меня, господи, на честный труд. За дело, Василий Белозерский, за дело! Наверстывай теперь потерянное за зубрежьем время бессонными почками! А ты, мой бессвязный и прерывчатый дневник, бедная отрада моей скуки, покойся впредь до усмотрения. «Покойся, милый прах, до радостного утра»... Приведется ли мне увидеть в тебе более веселые строки?..

.

27 апреля

Весна, весна! Зимние рамы вынуты. В моей комнатке, проходя в окно и упираясь в подошву стены, горит золотая полоса яркого солнца. По стеклу ползет и жужжит проснувшая всю зиму

муха. На дворе громко чирикают воробьи... но — увы! — из окна, с этого проклятого заднего двора все-таки пахнет навозом. Вблизи нет ни кустика зелени. Только у соседа, склонив над дощатым забором свои гибкие ветви, распускается одинокая старая ива.

Занятия мои подвигаются вперед. Книг я прочитал много. Перевожу с французского довольно свободно. Разумеется, всем этим я обязан моему бесценному Яблочкину, который беспрестанно помогал и помогает мне своими советами. Но как он, бедный, худ! какое у него бледное, истомленное лицо!

К батюшке я написал, что готовлюсь в университет, что уже достаточно для этого сделал. Просил у него благословения на продолжение пачатого мною дела, денег на покупку некоторых руководств и на это письмо уронил две крупных слезы. Посмотрим, что он скажет.

1 мая

Утром учепики ходили к отцу ректору просить рекреации. Эти рекреации существуют у нас с незапамятных времен. В коридоре обыкновенно собираются по одному или по два ученика из каждого отделения (классы разделяются на два отделения, в словесности иногда на три) и держат совет: как умнее приступить к делу? Через кого бы узнать, в каком расположении духа находится теперь отец ректор? И вот какой-нибудь богослов отправляется разведывать, что и как, узнает от келейника отца ректора или от другого близкого к нему лица, что все обстоит благополучно, что он весел и кушает

теперь чай. Богослов с сияющим лицом сообщает об этом во всеуслышание толпы, и она подвигается вперед. Богословы, как люди, имсющие более веса, идут во главе; смиренные словесники образуют хвост. Отцу ректору доложили. Он вышел в переднюю и с улыбкою выслушал просьбу учеников. «Ну что? май месяц наступил, а? Погулять хочется, а? хорошо, хорошо! Не будет ли дождя? все расстроится»... Он обертывается к своему келейнику: «Посмотри-ка в окно». — «Небо ясное, — отвечает келейник, — дождя, кажется, не будет». — «Позвольте, отец ректор, погулять в роще...» — говорит с поклоном курчавый богослов. «Позвольте...» — с поклонами повторяет за ним несколько голосов. «Ну что ж. Хорошо, хорошо! Только вы того... в роще не шуметь, песен не распевать... Вот и я приеду. А мяч-то есть у вас, а? и лапта есть?» — «Есть, есть», — с улыбкою отвечают ученики. «Ну, ступайте с богом, погуляйте. Май наступил, а? Так, так! Хорошо!»

Местность, на которой у нас бывает рекреация, довольно живописна. На горе зеленеет старая дубовая роща. Впизу выгнутыми коленами течет светлая река. За рекою раскидываются луга, блестят окаймленные камышом озера, в которых лозник купает свои зеленые ветви. Далее, поднимаясь над соломенными кровлями серых избушек, белеется каменная церковь. Ярko сверкает на солнце ее позолоченный крест и весело блестит обитый белою жестию шпиль. Это пригородное село. За селом широко развертываются ровные, покрытые молодою рожью, поля; волнистою, необъятною скатертью уходят они вдаль и сливаются с синевою безоблачного неба. Подле рощи, со стороны горо-

да, местность совершенно открыта. Под ногами песок или мелкая трава. В стороне там и сям поднимаются кусты и мшистые пни срубленных деревьев, но они так далеко, что мяч, посланный самою сильною и ловкою рукой, никогда до них не долетает и падает на виду. Здесь-то и бывает у нас рекреация.

Словесники являются на место действия ранее всех, некоторые тотчас после обеда. К четырем часам пополудни вы видите уже целую толпу, которая рассыпается по всем направлениям, и в молчаливой доселе роще перекликаются громкие голоса. «Многая лета!» — гремит протяжно в одном конце, и эхо отвечает в далекой, темной чаще: «лета!» «Ах, что ж это за раздолье, семинарское житье!..» — слышится с противоположной стороны, и пробужденное эхо снова отвечает: «житье!» А небо такое безоблачное, такое синее и глубокое. Солище льется золотом на вершины деревьев, по которым перелетают испуганные людскими голосами птички. Старые дубы перешептываются друг с другом и бросают от себя узорчатую тень. Вот один ученик становится на избранное место, левою рукою подбрасывает слегка мяч и ударяет по нему со всего размаха увесистою лаптою. «Лови!» — кричит он своим товарищам, которые стоят от него сажень на сто. Несколько ловцов бросаются на полет мяча, который, описав в синем небе громадную дугу, быстро опускается вниз. «Поймаем!» — отвечает голоостриженная голова, поднимая на бегу свои руки, и... мяч падает за его спиною. «Эх ты, разиня! — упрекают его сзади, — и тут-то не умся поймать». — «Черт его знает! Мяч, верно, легок: его относит ветром». Направо, между кустами,

краснеется рубаха молодого парня, который, в ожидании поживы, явился сюда из города с кадкою мороженого. Его низенькая шляпенка надета набекрень. За поясом висит медный гребешок и белое полотенце. Парня окружают ученики. «А ну-ка, брат, давай на копейку серебром. Да ты накладывай вёрхом... скуп уж очень...» — «Кваску, кваску!» — и торопливо подошедший квасник бойко снимает с своей головы наполненную бутылками кадку и утирает грязным платком свое разгоревшееся, облитое потом лицо. Число играющих в мяч постепенно увеличивается и разделяется на несколько кружков, каждый с своею лаптою и своим мячом. Но вот на дороге, сопровождаемый облаком серой пыли, показался знакомый нам экипаж. Его неуклюжий кузов, что-то среднее между коляскою и бричкою, неровно качался на высоких, грубой работы рессорах. Это был экипаж отца ректора. Плечистый бородатый кучер, крепко натянув ременные вожжи, едва удерживал широкогрудых вороных, которые, с пеною на удилах, быстро неслись по отлогой равнине. На запятках, при всяком толчке колеса, подпрыгивал белокурый богослов, любимец отца ректора, бездарнейшее существо. Он, впрочем, добрый малый и не ханжа, что в его положении большая редкость. Позади, на трех дрожках, ехали профессора. Отец ректор вышел из экипажа, опираясь на руку своего любимца, который откинул ему подножку, и направился к ближайшей группе учеников. Профессора следовали за ним в почтительном расстоянии. «Ну что? играете, а? Играете? Это хорошо. Вот и деревья тут есть, и травка есть... так, так. Играйте себе,— это ничего». Он обернулся с улыбкою к

профессорам: «Разве подать им пример, а? Пример подать?» — «Удостоите их... это не мешает...» — отвечало несколько голосов. «Хорошо, хорошо. Давайте лапту». Кто-то из учеников бросился за лежавшею лаптой и так усердно торопился вручить ее своему начальнику, что, разбежавшись, чуть не сбил его с ног. «Рад, верно, а? Ну, ничего, ничего...» — сказал начальник и взял лапту. «Извольте бить. Я подброшу мяч», — сказал один из профессоров, и мяч был подброшен. Последовал неловкий удар — промах! другой — опять промах. В третий раз лапта ударила по мячу, но так неискусно, что он принял косое направление, полетел вниз, сделал несколько бестолковых прыжков и успокоился на желтом песке. «Нет, нет! вы мяч нехорошо подбрасываете, нехорошо... А бить я могу, право, могу». — «Не угодно ли еще попробовать?» — отвечал профессор. «Нет, что ж... пусть молодежь играет. Мы лучше походим по роще. Играйте, дети, играйте...» — и вместе с профессорами он скоро скрылся за стволами старых дубов. «Многая лета!» — грянул в роще чей-то бас, и опять отвечало эхо: «лета!» — «Это непременно Попов орет... экое горло! Достанется ему за это, — заметил стоявший подле меня ученик, — побегу его предупредить...» И сметливый добрый товарищ полетел как стрела в ту сторону, откуда принесся звук, знакомый его слуху. Кучер одного из профессоров, переваливаясь с боку на бок и загребая песок своими пудовыми сапогами, лениво шел к опушке рощи. В руках он держал завернутый в белую скатерть самовар и небольшой кулек с закусками. Ученики продолжали игру в мяч, бегали взапуски, хохотали, спотыкались и падали, стараясь друг друга



посалить *, и, за неимением лучшего, находили во всем этом большое удовольствие. С наступлением сумерек усталая толпа побрела в разные стороны домой... Яблочкина на рекреации не было. В эти дни он особенно жаловался на боль в своей груди.

5

Яблочкин лежит в больнице. Доктор сказал, что жить ему остается недолго. Кажется, немного сказано... но нет, я не могу продолжать! Наконец и моя крепкая натура не выдержала. Черною кровью облилось мое бедное сердце, и сижу я, поникнув головою, и плачу как ребенок. Жить ему остается недолго... Зачем я не могу отогнать от себя этой мысли? Нет, я не должен ее отгонять! Я был бы не человек, если бы позабыл скоро это

* Посалить — ударить. Ударивший лаптою мяч бежит в сторону; поймавший его, или просто поднявший с земли, наносит беглецу удар во что придется, — это и называется посалить. Случается, что под этот удар подвертывается и какой-нибудь профессор.

нежданное, неисправимое горе. Дитя, начавшее лепетать, дитя, страстно привязанное к своей матери и брошенное сю в темном лесу, не может так плакать, как я теперь плачу. Оно не может так ясно понять свое беспомощное положение, сознать и представить себе весь ужас своего одиночества, как я теперь все это сознаю и понимаю. Ведь Яблочкин — моя нравственная опора! Это — свет, который сиял передо мною во мраке, свет, за которым я подвигался вперед по моей тяжелой и узкой тропе. Это — любовь, которая веяла на мою душу всем, что есть на земле прекрасного и благородного... Господи! как же мне не плакать!

Вот что вчера случилось. Яблочкин уже давно подал прошение и на днях должен был получить увольнение из духовного звания. Эта мысль заставила его держать себя несколько независимее ко всем его окружающим. Вчера, во время перемены классов, он закурил в коридоре папиросу и стоял, облокотившись рукою на перила лестницы, которая ведет в комнаты инспектора. Меня там не было. Говорят, что инспектор его увидал и позвал к себе. Через четверть часа Яблочкин вышел от него бледный как полотно. «Принеси мне, ради бога, немножко воды...» — сказал он первому попавшемуся ему на глаза товарищу и прислонился головою к стене, и все кашлял, кашлял, наконец ноги его подкосились, из горла показалась кровь. Его взяли под руки и отвели в больницу.

Я узнал об этом только сегодня, попросил у Федора Федоровича позволение оставить класс и бросился к моему другу. Он лежал на кровати в белой рубашке. Ноги его были прикрыты серым суконным одеялом. Глаза смотрели печально и туск-

ло. Белокурые волосы в беспорядке падали на бледный лоб.

— Здравствуй, Вася! Вот я и болен... — сказал он, усиливаясь улыбнуться, и медленно протянул ко мне свою ослабевшую руку. Голос его звучал как разбитый.

— Что ж такое! Бог даст, выздоровеешь, — отвечал я, чувствуя, что слезы подступали к моим глазам, и сознавая, что говорю глупость. Я давно подозревал в нем чахотку и решительно не знал, что сказать ему в утешение. А развлечь его чем-нибудь я не умел, и к чему? Яблочкин бесконечно умнее меня и, наверное, лучше всех знает свое положение. Мы молчали. В комнате лежало несколько больных. Один из них, с пластырем на ноге, читал вслух «Выход сатаны» и громко смеялся. На прочих и вообще на обстановку больницы я не обратил внимания: не до того мне было.

Яблочкин поднял на меня свои грустные глаза: «У меня уже три раза шла горлом кровь», и снова опустил свою голову и о чем-то задумался. Я хотел было остановить этого дурака, хохотавшего за книгою, но побоялся, что он заведет со мною какой-нибудь пошлый, грубый спор и потревожит этим моего больного друга, и потому оставил свое намерение.

Вошел доктор, добрый и умный старик, которого, за исключением наставников, уважает и любит вся семинария. Он пощупал у Яблочкина пульс. Больной поднял на него вопросительный взгляд. «Ничего, молодой человек, все пройдет! Бросьте на некоторое время свои занятия — и будете молодцом». Он что-то ему прописал и отдал

рецепт фельдшеру. «Что прописано?» — спросил я у последнего. «Лавровишневые капли». «Лекарство самое невинное,— подумал я,— видно, нет никакой надежды». Доктор стал осматривать других больных и, проходя мимо меня, уронил свою перчатку. Дав ему время удалиться в сторону, я поднял ее и, приблизившись к нему, едва слышно сказал, указывая глазами на Яблочкина: «Позвольте узнать, каково положение вон того больного?» — «Ему жить недолго,— отвечал он, принимая от меня перчатку и слегка кивая мне головой.— Организм его слишком истощен, да кроме того, вероятно, с ним было какое-то потрясение...» «Что тебе говорил доктор? — спросил меня Яблочкин, внимательно всматриваясь в выражение моего лица, которое изменяло моему спокойному голосу. «Говорит,— отвечал я,— что болезнь твоя не опасна...» — «Солгал ты, Вася, да все равно... Зайди, душа моя, на мою квартиру и попроси старушку, чтобы она прислала мне немножко чаю и сахару. Есть я ничего не хочу; все пить хочется. А ты будешь меня проводывать?»

— Буду, буду... — отвечал я и спешил отвернуться, чтобы скрыть от него текущие по щекам моим слезы.

16

Болезнь Яблочкина развивается быстро. Он едва-едва поднимает от подушки свою голову. Сегодня я поил его чаем из своих рук. Бедняга шутил, называл меня своею нянею. «Только,— говорил он,— ты не смотри так тоскливо; больные не любят печальных лиц. Видишь, здесь и без то-

го невесело». Он указал мне на грязный пол, на мрачные, бог весть когда покрытые зеленою краскою стены и на тусклые, засиженные мухами, окна.

Я получил от батюшки письмо. «Ты,— пишет он,— со мною не шути! (Эти слова им подчеркнуты.) Как я ни добр, но исполнять твоих прихотей не стану. И никогда тебе не дам моего родительского благословения ехать в университет. Какой дурак внушил тебе эту мысль, и что ты нашел в ней хорошего? Я тебе сказал: ты должен пребывать в том звании...» и так далее и так далее... Батюшка, батюшка! Ты говоришь: призван... А если у меня неостанет сил на исполнение моего святого долга? Если, почему бы то ни было, я утрачу сознание своего высокого назначения, заглохну и окаменею в окружающей меня горькой среде? Чей голос тогда меня ободрит? Чья рука меня поднимет? На чью голову ляжет ответственность за мои поступки?.. Я не могу ни за что взяться: голова моя идет кругом. Между тем у нас начались повторения к годовому экзамену. Что со мною будет, не знаю.

23

— Тебя зовет Яблочкин,— сказал мне фельдшер, вызвав меня из класса,— иди скорее... — Сердце мое дрогнуло, я побежал в больницу и осторожно подошел к постели больного.

— Ты здесь? — сказал он, открывая свои впалые глаза, под которыми образовались синие круги.— Умираю, Вася... все кончено! — Он хотел протянуть мне свою руку, но бессильная рука как

плеть упала на постель. Я сел подле него на табуретку. В комнате была тишина. Пасмурный день слабо освещал ее мрачные стены. На дворе шел дождь, и его крупные капли, заносимые ветром, звонко ударялись об стекла. Яблочкин дышал тяжело и неровно.

— Коротка была,— сказал он,— моя жизнь, и эта бедная жизнь обрывается в самую лучшую пору, как недопетая песня на самом задушевном стихе. Прощай, университет! Прощайте, мои молчаливые друзья, мои дорогие, любимые книги!.. Ах, как мне тяжело!.. Дай мне, Вася, свою руку...

Я понял, что приближается страшная минута.

— Друг мой,— сказал я, не удерживая более своих слез и тихо пожимая его холодные пальцы,— теперь тебе не время думать о земном. Видно так угодно богу, что выпадает нам та или другая доля. Его бесконечная любовь имеет свои цели...

— Помоги мне сесть.— Я приподнял его и подложил ему сзади подушку.

— Хорошо,— сказал он,— спасибо... Вася, Вася! У меня нет даже матери, которой я послал бы свой прощальный вздох. Я круглый сирота! На что мне они — эти лица, которые меня здесь окружают? Какая у меня с ними связь?

— А разве я тебя не люблю? разве я не буду тебя помнить и за тебя молиться?

— Я знаю, знаю. У тебя добрая душа... — Голова его была свешена на грудь, неопределенный взгляд устремлен в сторону. Он говорил:

Чиста моя вера,
Как пламя молитвы,
Но, боже! в вере
Могила темна...



— Алеша! друг мой! — сказал я, — зачем это сомнение?

Он посмотрел на меня задумчиво.

— Что ты сказал?

— Зачем это сомнение? — повторил я.

— Это так. Грустно мне, мой милый! Слышишь, как шумит ветер? Это он поет мне похоронную песню... Скажи моей доброй старушке, что я ее любил и за все ей благодарен. То же скажи ее сыну. Пусть он учится. Тебе я дарю все мои книги и тетрадки. Ах, как мне грустно!.. Дай мне карандаш и клочок бумаги. — У меня было в кармане то и другое, и я ему подал и положил на его колени какую-то попавшуюся мне под руки книгу, чтобы ему удобнее было писать. Он стал неразборчиво и медленно водить карандашом. После пяти или шести написанных им строк на бумагу упала с его ресницы крупная слеза. Больной отдохнул немного и снова взялся за карандаш.

— Устал я... — сказал он, прикладывая ко лбу свою руку. — Возьми себе это на память о моих последних минутах. Прочтешь дома.

— Спасибо тебе, — отвечал я и положил бумагу в карман.

Вдруг Яблочкин вздрогнул и остановил на мне испуганный взгляд.

— Кто это сюда вошел? Выгони его.

— Здесь никого нет, мой милый. — Я сел к нему на кровать и обнял его одною рукою. — Здесь никого нет...

— Как нет? Видишь, стоит весь в черном... Выгони его... — Больной дрожал с головы до ног. Я встал, прошелся до двери и снова сел на свое место.

— Я его вывел,— сказал я.

— Ну, хорошо.— Яблочкин положил ко мне на плечо свою голову. Бред его усиливался.

— Горит!..— вдруг он крикнул во весь голос и протянул вперед свои исхудалые руки.— Спасите!..

— Что ты, что ты? успокойся!..— отвечал я, прижимая его к своей груди.

— Стены горят... Мне душно в этих стенах!.. Спасите!

— Опомнись, опомнись,— говорил я, и грудь моя надрывалась от рыданий.— Здесь все мирно. И чужих здесь никого нет. Это я сижу с тобою, я, Василий Белозерский, друг твой, готовый за тебя лечь в могилу.

Дыхание Яблочкина становилось все тише и тише. Руки холодели, по глаза приняли более определенное выражение.

— Это ты, Вася?

— Я, мой милый.

— Ступай в университет, а здесь...

Голова его упала ко мне на плечо. Я послушал,— не дышит... И тихо я опустил его на подушку, перекрестил, закрыл ему глаза и склонился на колени у изголовья его кровати. И долго, долго текли из глаз моих горькие слезы.

Вот что он написал мне на память:

Вырыта заступом яма глубокая,
Жизнь невеселая, жизнь одинокая,
Жизнь бесприютная, жизнь терпеливая,
Жизнь, как осенняя ночь, молчаливая,—
Горько она, моя бедная, шла
И, как степной огонек, замерла.

Что же? успи, моя доля суровая!
Крепко закроется крышка сосновая,
Плотно сырою землею придавится,
Только одним человеком убавится...
Убыль его никому не больна,
Память о нем никому не нужна!..

Вот опа — слышится песнь беззаветная —
Гостя погоста, певунья залетная,
В воздухе сипем на воле купается;
Звонкая песнь серебром рассыпается...
Тише!.. О жизни покончен вопрос.
Больше не нужно ни песен, ни слез!

.
.
.

24 августа

Сейчас между моими учебными книгами мне попался случайно забытый мною дневник. Первою моею мыслию было сжечь эти страницы, напомнившие мне столько горького. Но когда я пробежал несколько строк, когда подумал, что в них положена часть моей жизни, — рука моя не поднялась на истребление этой бедной измятой тетради.

Много протекло времени с той минуты, когда умер мой незабвенный Яблочкин. Этот человек имел на меня непостижимое влияние. Он заставлял меня жить напряженною, почти поэтическою жизнью. Умолкли его огненные речи, положили его в могилу, и, кажется, навсегда улетела от ме-

ня поэзия моей внутренней, духовной жизни. Все пришло в обыкновенный порядок: мечты мои остыли, желания не переходят за известную черту. Успокойся! сказал я своему сердцу, — и оно успокоилось. Только на лбу у меня осталась резкая морщина, только голова моя клонится теперь ниже прежнего.

В доме у нас невесело. Поля выжжены палящим зноем; все хлеба пропали. Неурожай в полном смысле этого слова. По улице не скрипят, как бывало, с снопами воза. При вечерней заре никто не поет беззаботной песни. Батюшка ходит печальный и угрюмый.

По приезде моем сюда, я заговорил с ним о моем намерении поступить в университет. «Видишь? — сказал он, указывая мне на обнаженные поля и на пустое наше гумно. — А до будущего урожая еще далеко. Пожалуйста, не сердь меня пустяками: без тебя тошно...»

Переводный экзамен в богословии я выдержал не совсем хорошо. Вдруг, после смерти Яблочкина, мне трудно было взяться за дело. Батюшка остался мною недоволен. «Жил ты, говорит, под надзором профессора и едва удержался в первом разряде». Однако ж я переведен.

Прощание мое с Федором Федоровичем, у которого жить более я уже не буду, было довольно холодно. Он, конечно, ожидал от меня глубочайшей благодарности за все его заботы о моих дальнейших успехах, но благодарить его, право, не стоило.

Моя будущая судьба теперь окончательно определилась. Пройдут еще два года трудовой однообразной жизни, и я приму на себя звание духов-

ного врача. Видит бог, намерения мои всегда были чисты. Если я заблуждался, мечтая о другой дороге, заблуждение мое было бескорыстно, мысль не заходила далеко и...

Я слышу голос батюшки, который зовет меня заплетать плетень, говоря: «Все равно — ты сидишь без дела».

Довольно! дневник мой окончен.



П Р И М Е Ч А Н И Я

Начало работы над «Дневником семинариста» относится к 1858 году. В письме к Н. И. Второву от 14 апреля 1858 года И. С. Никитин сообщает: «Записки семинариста» подвигаются вперед тихо, даже слишком тихо» (в дальнейшем произведение стало называться «Дневник семинариста». — *О. Л.*). Затем в работе над повестью наступил перерыв, вызванный, в частности, хлопотами по организации в Воронеже книжной лавки (она была открыта в феврале 1859 г.). Вернулся Никитин к осуществлению своего замысла только в 1860 году в связи с задуманным им и его другом М. Ф. Де-Пуле литературным сборником. В письме к Н. И. Второву от 11 ноября 1860 года Никитин говорит: «Я взялся было написать для «Воронежского сбор[ника]» (позднее название было изменено на «Воронежскую беседу на 1861-й год». — *О. Л.*) «Дневник семинариста» и листов 6 мельчайшим почерком уже написал, но книжная торговля так поглощает все мое время, что едва ли я успею сделать что-либо путное. А жалы! Из «Дневника» могла бы выйти педурная вещь».

Другие упоминания о «Дневнике семинариста» в письмах Никитина свидетельствуют о том, что автор придавал большое общественное значение самому факту возможного появления повести из быта русской духовной школы.

И. С. Никитин опасался серьезного цензурного вмешательства в текст своего произведения, однако дело решилось в целом благополучно. «Вчера я получил приятное известие из Москвы, — писал Никитин Н. И. Второву 13 марта 1861 года, — что «Записки семинариста» пропущены цензурою. Разумеется, кое на что она наложила свою руку, но бог с нею! Я не сержусь... Жаль только одну сцену, где говорилось об инспекторе и о розгах. Но представьте, вот где смешное: там были стихи Кольцова:

Чиста моя вера,
Как пламя молитвы,
Но боже! и вере
Могила темна...

Последние два стиха цензура не пропустила».

В продажу «Воронежская беседа на 1861-й год», где был напечатан «Дневник семинариста», поступила уже после смерти И. С. Никитина, последовавшей 16 октября 1861 года. Первая публикация повести небрежна в текстологическом смысле. Объясняется это в определенной степени тем, что сборник печатался в Петербурге и трудно было держать корректуру. Некоторые неточности остались и в издании «Дневника семинариста», подготовленном А. Г. Фоминым (1915) (см.: Е. Архангельская, К вопросу о тексте «Дневника семинариста» И. С. Никитина. — Воронежский историко-археологический вестник, вып. 1, 1921).

До революции «Дневник семинариста», помимо пуб-

ликации в составе сборников сочинений И. С. Никитина, выдержал несколько отдельных изданий. За годы Советской власти осуществлено лишь одно такое издание (М., 1919). В настоящем издании текст повести дается по «Сочинениям» И. С. Никитина (М., Гослитиздат, 1955), вышедшим под редакцией Л. А. Плоткина.

«Дневник семинариста» вызвал при своем появлении ряд похвальных откликов в печати. Наиболее примечательна анонимная рецензия (предполагается, что она принадлежит М. А. Антоновичу), помещенная в «Современнике» (1861, № 12, отд. II, стр. 195—210). Автор считает, что основной проблемой повести является несоответствие между богатыми возможностями одаренной натуры и губительной для нее внешней средой. О произведении Никитина см. также: А. С[уворин]. Наши герои. — «Русская речь», № 92, 16 ноября, 1861; А. К[отляревский]. — «Московские ведомости», № 263, 30 ноября, 1861; «С.-Петербургские ведомости», № 267, 1 декабря, 1861; «Северная пчела», № 29, 30 января, 1862.

Позднейшие критики и исследователи также благожелательно отзывались о «Дневнике семинариста». Редактор лучшего дореволюционного собрания сочинений И. С. Никитина А. Г. Фомин писал: «Дневник семинариста» интересен не только с точки зрения историко-литературной, но заслуживает внимания и как попытка Никитина попробовать свои силы в художественной прозе, с несомненностью обнаруживающая, что в нем таился не проявленный им вполне талант художника-беллетриста, что в этой области он мог бы занять почетное место среди современных ему бытописателей-реалистов» (И. С. Никитин. Полн. собр. соч., т. 3. Спб., 1915, стр. 410). Многолетний исследователь творчества Никитина Л. А. Плоткин считает: «Можно с полным правом утверждать, что «Дневник семинариста» принадлежит к числу

ярких и примечательных явлений русской демократической литературы 60-х годов» (вступит. статья к «Сочинениям» И. С. Никитина. М., 1955, стр. XXIV).

В 1950 году миланское издательство «Universale economica» в своей литературной серии выпустило «Дневник семинариста» в переводе на итальянский язык: *Diario di un seminarista di Ivan Nikitin. A cura di Riccardo Picchio. Milano, «Universale economica», 1950. 125 s.* В своем предисловии переводчик Риккардо Пиккио высоко оценивает исторические и художественные достоинства повести Никитина, сопоставляет ее с произведениями Салтыкова-Щедрина, Лескова, Помяловского.

Помещенное в тексте повести стихотворение Никитина «Вырыта заступом яма глубокая...» переведено на иностранные языки и языки народов СССР.

Это стихотворение, безусловно, одно из самых значительных в поэтическом наследии И. С. Никитина. Сам автор вкладывал в него особый, личный смысл, любил декламировать его друзьям. А. С. Суворов вспоминает: «Раз я возвращался с уроков мимо книжного магазина; Никитин стоял на его крылечке. Поздоровавшись, он прочел мне тут же, на улице, стихотворение «Вырыта заступом яма глубокая...», которое он написал накануне ночью <...>. Слезы градом потекли у него из глаз, когда он его кончал».

Ценное свидетельство оставил в биографии И. С. Никитина М. Ф. Де-Пуле: «Когда Никитин dokonчил «Дневник семинариста», у него показалась горлом кровь. Последнюю сцену — смерть Яблочкина и превосходное стихотворение, которым заканчивается повесть, Никитин прочел мне в своем книжном магазине <...>. «Доконал меня проклятый Семинарист!» — воскликнул Никитин, приступив к чтению. С первых же слов смертная бледность покрывала его лицо; глаза его загорелись знакомым сухим

пламенем; красные пятна зарделись на щеках; голос дрожал, порывался и замер как-то страшно на словах:

...О жизни покончен вопрос...
Больше не нужно ни песен, ни слез!

Так написать мог только умирающий; так прочесть можно было только перед открытой могилой!..»

М. Ф. Де-Пуле опубликовал стихотворение «Вырыта заступом яма глубокая...» в тексте некролога Никитина («Московские ведомости», № 241, 3 ноября, 1861).

Повесть И. С. Никитина «Дневник семинариста» оставила заметный след в истории русской литературы. Несмотря на попытки сузить ее смысл, свести его к изображению быта и нравов духовной школы, она привлекает читателей глубокой идейно-нравственного содержания.

Иван Саввич Никитин
ДНЕВНИК СЕМИНАРИСТА

Редактор *И. И. Нетесина*
Художественный редактор *Э. А. Розен*
Технические редакторы
И. И. Капитонова и В. А. Преображенская
Корректор *Л. В. Конкина*

Сдано в наб. 19. 12. 1975 г. Подп. к печ. 26. 4. 1976 г.
Формат бум 70X100¹/₃₂ Бум. № 1 тип.
Физ печ. л. 5,0. Уч.-изд. л. 5,81.
Усл. печ. л. 6,45. Изд инд. ЛХ-11.
Тираж 100,000 экз.
Цена 36 коп.

Издательство «Советская Россия».
Москва, проезд Салунова, 13/15.

Вологодская областная типография,
г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.

36 km

CONSTITUTION